

, СПб., 1899

FB2: "rvvg ", 09 April 2015, version 1.0

UUID: 1B7AD97D-0209-4953-9FD1-974CBC754564

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Василий Петрович Авенариус

Во львиной пасти

Авенариус, Василий Петрович, беллетрист и детский писатель. Родился в 1839 году. Окончил курс в Петербургском университете. Был старшим чиновником по учреждениям императрицы Марии.

Содержание

#1	0005
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	0006
Глава первая	0006
Глава вторая	0019
Глава третья	0032
Глава четвертая	0049
Глава пятая	0058
Глава шестая	0073
Глава седьмая	0088
Глава восьмая	0110
Глава девятая	0123
Глава десятая	0142
Глава одиннадцатая	0158
Глава двенадцатая	0178
Глава тринадцатая	0187
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	0209
Глава первая	0209
Глава вторая	0226
Глава третья	0240
Глава четвертая	0262
Глава пятая	0273
Глава шестая	0283
Глава седьмая	0299
Глава восьмая	0308
Глава девятая	0328

Глава десятая	.0338
Глава одиннадцатая	.0349
Глава двенадцатая	.0363
Глава тринадцатая	.0378
Глава четырнадцатая	.0391
Глава пятнадцатая	.0406
Глава шестнадцатая	.0426
Эпилог	.0450

В. П. Авенариус

Во львиной пасти

Историческая повесть из эпохи основания Петербурга.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

*Из дальних странствий возвратись,
Какой-то дворянин, а может быть,
и князь...*

Крылов

*Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои!
Тютчев*

В средних числах августа 1702 года над Балтийским морем разразилась жестокая буря. Бушевала она трое суток. На четвертые у нее дух заняло, и она утомонилась. «Морскую чайку» («Seetowe»), трехмачтовое купеческое судно, пять недель назад вышедшее из Любека с грузом колониальных товаров для шведской крепости Ниеншанц на Неве-реке, слегка еще только покачивало, подбрасывало умирившимися волнами. Нам, избалованным усовершенствованиями судостроения последних двух веков, пузатый кораблик этот казался бы, быть может, довольно бесформен-

ным и неуклюжим. Но шкипер судна Фриц Бельман считал свою «Морскую чайку», особенно с распущенными, как теперь, белыми крыльями-парусами, первой морской красавицей в мире. Даже после трехдневной отчаянной борьбы с разгулявшимися стихиями в туалете красавицы замечались сравнительно лишь маловажные изъяны: только на бизани (задней мачте) разнесло штормом брамсель (верхний парус), да на бушприте (носовой, наклоненной вперед за водорез мачте) из трех треугольных парусов не досчитывалось бомкли-вера.

Бессменный на своем посту Фриц Бельман зорко посматривал вперед, по временам поднося к глазу подзорную трубу. Давно уже по правому горизонту тянулась туманная береговая полоска; а вот впереди показались из волн и очертания какого-то острова. Совершая этот рейс не в первый раз, Фриц Бельман тотчас узнал, конечно, Крысий остров (Ratzen-Insel), который у финнов носил название Котельного (Ретусари), а русскими переименован был в Котлин. Но пустынный в иное время островок со скудной растительностью и

несколькими убогими рыбацкими лачугами, которых, впрочем, за дальностью расстояния покуда нельзя было еще и разглядеть, — представлял теперь, видно, что-то необычное: шкипер не отнимал уже от глаза подзорного стекла, и лоб его мрачно нахмурился. Опытный глаз моряка различил три военных морских судна под шведским флагом: два корвета (трехмачтовые с надпалубными пушками) и один бриг (двухмачтовый), последний по всем признакам — сторожевой крейсер.

— Опять пойдет эта проклятая проволочка с паспортами! — проворчал про себя Фриц Бельман, которому вспомнилось, что молодой шведский король Карл XII два года ведь уж воюет не на жизнь, а на смерть с молодым же московским царем Петром I. Ну, а против этого неугомонного воителя, который во что бы то ни стало хочет вдвинуть свою азиатскую державу в число европейских государств и неустанно теснит шведов, последним поневоле приходится принимать всякие предохранительные меры, хотя бы во вред международной торговле.

Тут внимание шкипера было отвлечено

спорящими голосами за его спиной. Он оглянулся.

Сидевший под грот-мачтой, поджав под себя ноги, юный матросик горячо препирался о чем-то с прислонившимся тут же к мачте юношей в цветной ливрее и за спором забыл на время даже свою работу — нашивку полотняного пластыря на разодранный бурей бомкливер.

— Что у вас там опять? — окрикнул их издали начальник судна. — Ганс, поди-ка сюда!

Матросик разом присмирел и усердно взялся снова за иглу. Ливрейный же собеседник его шутя фыркнул на него кошкой и скрылся в люк под палубу, откуда уже через некоторое время донесся жалобный зов:

— Lucien! he, Lucien!

Шкипер признал, однако, нужным поддержать субординацию и еще строже прежнего гаркнул:

— Ганс!

Гансу ничего уже не оставалось, как приподняться и предстать пред грозные очи начальника.

— Что ты, бездельник, оглох, что ли? —

грубо накинулся тот на него и наделил его такой пощечиной, что малый чуть устоял на ногах. — Зову-зову, а он и ухом не ведет! Из-за чего у вас вышел опять шум-то с этим пустомелей-французом?

— Да помилуйте, герр капитен, — старался оправдаться матросик, придерживая рукой вздувшуюся щеку, — он говорит, вишь, что еще до шторма дул изрядный марсельный ветер...[1]

— Ну?

— А мы шли в бейдевинде[2], бакбортom... [3]

— Так что же?

— А то, что нам загодя еще надо было убрать брамсели[4] и лавировать к южному берегу. Тогда-де и бизани нашей ничего бы не приключилось.

— Что он смыслит, щенок! Sapperment! — буркнул Фриц Бельман; но темный румянец, проступивший сквозь бронзовый загар его обветрившегося лица, помимо воли его выдал, что замечание «щетка» попало не в бровь, а в глаз.

У Ганса же настолько чувствительно горе-

ла его щека от тяжелой руки шкипера, что смущение последнего еще более его подзадо-рило.

— Хоть и щенок он, этот Люсьен, а всячески, слышь, был уже матросом в Тулоне и пригляделся к морскому делу, — продолжал он. — Вы сами, я чай, герр капитин, видели, как он при первой же команде вашей «К марсам!» раньше всех нас влез по ванте[5] на грот-мачту и стал убирать грот-брамсель. А как убрали, так не слез вниз, а уселся там на стеньге[6], как птичка на дереве, да соловьем зацелкал. Французы на все ведь руки мастера, хоть этот-то с лица, пожалуй, больше на азиата смахивает...

— Ладно! — оборвал тут болтуна начальник. — Все уши протрещал! Марш за работу, и чтобы я не видел уже вас вместе!

Тем временем «азиат-француз» спустился под палубу, где в «пассажирской каюте» — тесной, полутемной и душной каморке — не одну уже неделю томился, лежа пластом, его господин, молодой человек лет двадцати двух.

— И куда это ты, братец, опять запропал?

Точно меня и на свете уже нет! — укорил он своего камердинера, но не по-французски, а по-русски.

Тот испуганно приложил к губам палец.

— Тс-с-с, мосье! Неравно слышат.

— Не слышат, волны в стенки так и бьют.

Ты вообще, Лукашка, трус изрядный. Подай-ка сюда лимон.

Обсасывая свежий ломтик лимона молодой человек, соскучась, видно, в своем одиночестве, продолжал разговор:

— А нового чего нет ли?

— Есть, — отвечал Люсьен-Лукашка, — видел я нынче поутру тюленя.

— А он тебя видел? Камердинер рассмеялся.

— Не погневись: не заметил.

— Ну, а нас с тобой здесь еще не приметили? Ничего не супсонируют?

— Матрос Ганс и то уже допытывался: с чего это у меня глаза щелочками и скулы врозь?

— Не диво, коли калмык!

— Отец у меня, сударь, точно, был из калмыков, но матушка — русская, — серьезно возразил калмык, — и сам я крещен в право-

славной вере.

— Да рожа все же калмыцкая. Но по-французски ты говоришь весьма сносно — настоящим лакейским жаргоном.

— В три-то года времени как не перенять? И по-немецки я тут на корабле за пять недель порядком наострился. А все сдается мне, сударь, что мы на пагубу свою лезем прямо в пасть львиную, совсем вот как намедни в цирке — помнишь ведь? — укротитель зверей клал голову свою в пасть льву.

— Вот именно! — подхватил господин. — В этом-то для меня и букет всей авантюры: из львиной пасти выйти невредимым!

— Да выйдем ли?

— А почему бы нет? С Невы до наших аванпостов рукой подать.

— Но пропустят ли нас шведские-то аванпосты? Долго ли ведь обмолвиться? Ложь на тараканьих ножках: того гляди, подломятся. Сам ты, сударь, не чая, по простоте брякнешь.

— По простоте! А брякну, так долго отпираться тоже не стану. Назовусь полным титулом: Спафариев Иван Петрович, российский дворянин и помещик, и выложу все начисто-

ту: что царь наш Петр Алексеевич отрядил меня с другими детьми дворянскими в Тулон и Брест — обучаться навигации и морской науке...

— А ты, не спросясь царской апробации, махнул в Париж?

— Да где тут еще спрашивать было? А раз побывав во Франции, как же не побывать в ее столице, в сем новейшем Вавилоне.

— Для вящего усовершенствования в кораблестроении и мореплавании на море житейском?

— Ты, дурак глупый, чего зубоскалишь! Избаловал я тебя: страху на тебя нет. В Тулоне и Бресте мы все ж таки пробыли без малого два года. И тебе, Лукашка, право же, грех бы уж жаловаться: коли я чем negliжировал, то ты, личардой состоя при мне, всю мудрость навигационную до тонкости произошел: хоть сейчас на экзамен.

— За что тебе, батюшка-барин, личард твой и в ножки кланяется.

— Так чего же тебе еще?

— А опаска за тебя же берет. Что послан ты царем нашим за море в науку — шведы ту-

да-сюда, может, еще и поверят, но что ты оставил при себе чужой паспорт и назвался по нем маркизом Ламбалем...

— А что ж мне было делать в моем амбара? Не разыскивать же подлинного Ламбаля по всему белу свету, чтобы получить обратно свой собственный вид? Где он теперь рыскает, бесшабашный шаматон? Один Бог ведает.

— Но как же, могут еще спросить шведы, ни маркиз, ни сам ты, сударь, при прощанье не заметили, что немецкая полиция вам паспорта обменила?

— До паспортов ли нам тогда было, сам скажи? Кто кого употчевал, он ли меня, я ли его, — и о сю пору сказать не возьмусь. А как хватился я, что паспорт не мой, так маркиза моего — ау! и след простыл. Как быть? Не скажаться же беспаспортным бродягой? Ну, и поехал далее — на Ганновер и Любек.

— А почему не на Берлин и на Варшаву?

— Точно не знаешь, что в Варшаве теперь сам король шведский Карл, его людей-то таким фальшивым видом не проведешь. А на Неве и шведы-то, я чай, попроще, а главное — такая, слышь, охота на лосей, на всякую ди-

чину... Как устоять? Мой девиз: «Хватай момент за чуб!»

— Вот то-то и есть. «Da ist der Hund begraben», как говорит Ганс: загорелось тебе за семь верст киселя поесть. Ну, да пусть по-твоему, как-нибудь и выберемся от шведов. А чем-то мы перед государем нашим оправимся, что не токмо на полгода запоздали, а еще взяли такой круговой маршрут? Киселем у него не извернешься. Вот я все это время с Любека и раздумывал, голову ломал...

— И никакого профита, конечно, не придумал?

— Придумать-то придумал, да не гораздо мудрящий.

— Что же такое? Сказывай.

— А вот вспало мне на мысль, что коли царь наш Петр Алексеевич напирает так на Неву, то, стало, неспроста, а чтобы отобрать ее у шведов с обеими фортециями: Нотеборгом да Ниеншанцем.

— Весьма даже возможно.

— А коли так, то первым делом ему нужны планы фортеций. Ну, до Нотеборга нам далеко: он, слышь, у самой Ладоги. Но в Ниеншан-

це мы будем не нынче, так завтра. Вот бы нам и снять для царя этакий планчик с ниеншанцской цитадели.

— То есть разыграть шпионов! Нечего сказать, надумал! Спасибо.

— Да не шпионов, сударь, а разведчиков. Кто такой заправский шпион? Кто даст подкупить себя неприятелю. Тому и петли мало. А мы ведь сами, по своей доброй воле, в петлю лезем — во славу царя и отечества. Это попросту — военный фортель, который никому в фальшь не ставится.

— Да мы-то оба, ты да я, воюем, что ли, со шведами? Мы — люди партикулярные, и меня, как французского маркиза, в Ниеншанце, нет сомнения, еще со всеми онерами примут, а я-то в благодарность сотвори им такую пакость! Нет, брат, я хоть и не природный маркиз, но все же природный русский дворянин и на такие шиканства не капабель.

— Ну, а я раб и смерд, — объявил камердинер, — мне эти дворянские сантименты не по рылу, я возьму уж на свою совесть грех, коли то грех, а не достохвальное дело.

— Чтобы мне потом быть за тебя в ответе?

Шишь на место!

Калмык с мольбою сложил руки.

— Голубчик барин! Я, право же, вершил бы в свою голову! А ты, знай, отрещивайся только от всего: и не видал, мол, и не слышал, и о ту пору на свете не бывал.

— Хороши мы оба, — усмехнулся Иван Петрович, — продаем шкуру, не убив медведя.

— От слова до дела сто перегонов, правда твоя, сударь, но «хочу» — половина «могу». Так ты, стало, не будешь уже чинить мне помехи?

— Ну тебя! Надоел! Отстань!

— Mein lieber Herr Marquis! — раздался тут над люком голос шкипера. — Сейчас подойдет к нам шведский крейсер, готовьтесь к таможенному осмотру.

Господин и слуга переглянулись. Лукашка глубоко вздохнул и, закатив глаза, взялся рукой за горло.

— Что с тобою? — спросил Ламбаль-Спафариев.

— А чуется мне, — был ответ, — ох, чуется, что болтаться мне на грот-мачте, как пить дать!

Глава вторая

Бобчински.

В желудке-то у меня... С утра я ничего не ел... так желудочное трясение... Да-с, в желудке-то у Петра Ивановича...

Гоголь

*Молодой Соловей сын Будимирович
Во гусельшки играет во яровчатые,
Струнку ко струнке натягивает,
Наигрыш по голосу налаживает.
По звончатым струночкам похаживает,
Игры-сыгрыши ведет от Царя-града,
А все малые припевки с-за синя моря.
«Былины о Соловье Будилировиче»*

Опасение калмыка не было лишено оснований. Взошедший с крейсера на «Морскую чайку» шведский коронный чиновник, освидетельствовав сперва весь груз корабля и багаж пассажиров, принялся за письменные документы. Между ними особенно, казалось, обратил его внимание паспорт маркиза Ламбалья, потому что он лично пожелал взглянуть

на маркиза и нарочно спустился к нему в каюту. Не найдя в его внешности ничего подозрительного и не решаясь беспокоить долгими расспросами самого маркиза, не оправившегося еще от последствий морской качки, он потребовал к себе на палубу его камердинера Люсьена.

Скуластое, с перекошенными монгольскими глазами лицо калмыка было настолько типично, что добросовестный чиновник как-то особенно внимательно оглядел его с головы до ног и затем начал обстоятельный допрос с того, откуда он родом.

Лукашка, однако, недаром пробыл три года слишком среди французов. Скороговоркой, без запинки он затараторил о своих родителях, о двух дедах и двух бабках, о всей родне в Гаскони, так что швед, не разобрав, конечно, и половины, не вытерпел и сам прервал его. Ткнув пальцем на сделанную в паспорте маркиза относительно Люсьена приписку, он осведомился: почему у него, камердинера, не имеется отдельного от своего господина вида?

Но тут допросчик попал, как говорится, из

дождя да в воду: самолюбивый гасконец благородно вознегодовал и, стуча кулаком в грудь, распространился о том, что хотя, по издавна заведенному и устаревшему, пожалуй, порядку, слуг у французов еще и вписывают в паспорт их господ, но это все же не дает еще право всякому иноземцу глумиться над французами, потому что французы, что ни говори, *la grande nation*...

— Bra, bra! (Хорошо, хорошо!) — морщась, остановил швед патриотические излияния француза и поставил еще один последний вопрос: почему Люсьен внесен в паспорт господина маркиза другим почерком и другими чернилами?

На это француз уже просто-таки расхохотался в лицо допросчику.

Очередь вломиться в амбицию была за шведом. Он гордо выпрямился и сухо заметил: что смешного в его вопросе?

— Mille pardon, mon cher monsieur, — отвечал с поклоном Люсьен, которому, казалось, стоило не малого усилия, чтобы снова не прыснуть, — но кому же, помилуйте, неизвестно, что министерство иностранных дел

ведает у нас только дела господ, а мы, прислуга, подведомы полиции? Вот паспорт господина маркиза, по изготовлении, и был передан в полицию для отметки. Относительно же полиции нашей смею вам почтительнейше доложить...

Но уши солидного скандинавца и без того уже звенели от немилосердной трескотни легковесного сына Гаскони. Недослушав, он безнадежно махнул рукой и отошел вон, чтобы приложить к паспорту двух несомненных французов штемпель с разрешительной надписью «Visiterat» («Визирован»).

Таможенный осмотр, однако, настолько затянулся, что к невскому устью «Морская чайка» прибыла только к вечеру, и пробираться далеко по извилистым рукавам Невы до Ниеншанца в сумерках даже такому опытному шкиперу, как Фриц Бельман, показалось несколько рискованным. Поэтому он до утра застопорил, то есть бросил якорь на взморье против обросшей диким лесом оконечности пустынного и болотистого Мусмансгольма (нынешнего Елагина) — той самой Стрелки, которая в наше время служит столь излюб-

ленным местом вечернего гулянья столичного бомонда, стекающегося сюда не столько ради действительно живописного заката солнца, сколько для того, чтобы «и людей посмотреть, и себя показать».

Теперь и герой наш решил покинуть каюту. Делать туалет свой по тогдашней вычурной парижской моде под корабельной палубой было своего рода искусством. Но благодаря расторопному камердинеру Иван Петрович уже через какой-нибудь час времени мог показаться на палубу, побритый и умытый, напудренный и надушенный. Когда он, здороваясь, подошел к шкиперу, суровый моряк измерил глазами его безупречно щегольскую фигуру.

— Господин маркиз, должно быть, в Ниеншанце бал открывать собирается? — спросил Фриц Бельман, и по жестким чертам его проскользнуло подобие усмешки.

В самом деле, внешность молодого маркиза для морского путешествия была, пожалуй, слишком «салонная». Красивое, беззаботное и выхоленное, как персик, лицо его, в меру теперь осунувшееся от долгого поста, было об-

рамлено широкополой пуховой шляпой и напудренным, в длинных завитках париком. Повязанный вокруг белой, как кипень, шеи кружевной шарф ниспадал изящно-небрежным бантом на пышные брыжи сорочки. Голубой шелковый кафтан поверх нежно-розового камзола свободно облегал не по летам полный стан, за пять последних недель также сделавшийся явно стройнее. Палевые шелковые чулки и остроконечные лаковые башмаки с перламутровыми пряжками завершали образцовый наряд — наряд новейшего парижского петиметра.

— А герр капитан заказал уже музыкантов? — незлобливо отшутился Иван Петрович. — Впрочем, человек мой сейчас говорил мне, что мы до завтра не двинемся уже далее?

— Где же двигаться, коли ночь на носу?

— Так накормите меня по крайней мере, Христа ради, а то с Любека я, видите, как скелет, отощал.

— Гм, довольно плотный скелет... — проворчал Фриц Бельман и окликнул проходившего мимо корабельного прислужника. — Эй, стюард! Чашку кофе господину маркизу, да

погляди-ка, не найдется ли там, в камбузе, еще чего посытнее.

Вскоре Иван Петрович сидел на складной табуретке за небольшим столиком, вынесенным для него стюардом на палубу, и с редким аппетитом уписывал наскоро изготовленную в камбузе яичницу с солониной, запивая ее горячим кофе и пенистым пивом. Молодой человек, впрочем, не был равнодушен и к красотам природы и, утоляя первый голод, в то же время с удовольствием озирался то на далекое взморье, так и искрившееся в лучах догорающей зари, то на лесистый берег Мусмансгольма, где среди яркой зелени белоствольных берез чрезвычайно эффектно выделялись освещенные заревом заката желто-бурые стволы темно-зеленых сосен.

Но одиночество ему скоро прискучило и, потребовав себе у стюарда бутылку рейнвейна, он попросил шкипера «сделать ему компанию». Тот не отказался и довольно снисходительно прислушивался к веселой болтовне маркиза, сам только изредка поддакивая ему односложным «гм», но тем чаще прикладываясь к своему стакану.

— Эге, да у вас тут и музицируют? — заметил вдруг Спафариев. — Вон и огонек светится. Что там такое?

И точно: сквозь прозрачные сумерки летней ночи, в отдалении, вверх по течению Большой Невки приветно мерцал огонек, сквозь невозмутимую ночную тишину призывно долетали какие-то странные, жалобно дрожащие звуки струнного инструмента.

— А там известная загородная гостиница — *besokarehuset*, — пояснил Фриц Бельман, выливая в свой стакан из бутылки последние капли рейнвейна.

— Но играют-то на чем? Арфа не арфа...

— Это кантеле — финская народная не то гитара, не то цитра о четырех струнах.

— Любопытно бы, право, взглянуть! Я сам тоже по малости бренчу на гитаре. Чу! Никак и поют?

К заунывному дребезжанию кантеле, действительно, присоединился теперь высокий тенор. Мелодия была до крайности проста и однообразно повторялась, но звучный голос певца искупал этот недостаток. Когда замер последний звук песни, слышались одобри-

тельные возгласы.

Иван Петрович быстро приподнялся.

— Герр капитен! Едемте-ка туда? Я только заморил червячка, а там, верно, и поужинать по-человечески можно.

— Покорно благодарю, но я вам не товарищ, — наотрез отказался шкипер. — Три ночи напролет пробыв на палубе, охотно проведешь ночь и в каюте. Вам же, *mein Herr*, я не препятствую: шлюпка моя к вашим услугам. Только не забудьте вернуться к рассвету: нарочно ждать мы вас не станем.

— Будьте благонадежны, — отвечал Иван Петрович и несколько минут спустя вместе со своим верным личардой Лукашкой спустился по штурм-трапу в маленькую капитанскую шлюпку, чтобы поплыть затем вверх по Большой Невке к манившему издали огоньку. Обошлись они без кого-либо из матросов, потому что те, утомленные, подобно своему начальнику, трехдневной бурей, расположились уже вповалку на палубе судна, накрывшись от ночной сырости парусиной.

Besokarehuset стояла на карельском берегу Малой Невки, немного не доходя той линии,

где в настоящее время тянется непрерывный ряд дачных карточных домиков Старой Деревни и где в ту пору было разбросано только несколько крестьянских лачуг. Незатейливый, но опрятный домик так укомно ютился под навесом раскидистых сосен, открытые настежь небольшие окна его так гостеприимно светились огнями и звучащий оттуда здоровый смех сулил столько беззаботного веселья, что ветреник наш поспешил выскочить из лодки и духом взбежал по пологому берегу к невысокому крыльцу. Но тут он наткнулся на финна-кобзаря, широко рассеявшегося на нижней ступеньке. Убогому певцу бросили, видно, только что подачку: со своим кантеле на коленях он пересчитывал на ладони несколько медных монет.

Как узник из тюрьмы, Иван Петрович вырвался сейчас лишь из своей корабельной неволи, а старый капитанский рейнвейн, разлившийся огнем по его жилам, еще более подбивал его выкинуть какое-нибудь необычное коленце. Не спросясь кобзаря, он схватил с его колен кантеле, после короткой прелюдии для ознакомления с инструментом уме-

лой рукой ударил по струнам и свежим баритоном затянул старинный провансальский романс. Голоса в доме разом стихли, и вся пирующая братия бросилась к окнам: откуда-де вместо простого финна взялся вдруг французский трубадур? А трубадур наш, польщенный таким вниманием с грустно-нежного напева совсем неожиданно перешел на веселую шансонетку и вложил в нее столько умения, а главное — столько задушевной и молодецкой, скорее русской, чем французской, удали, что при последнем аккорде его из окон грянуло единодушно:

— Браво! Брависсимо!

Не успел он оглянуться, как выбежавший к нему на крыльцо коренастый и полный шведский офицер в кафтане нараспашку подхватил его под руку и втащил в горницу. Иван Петрович очутился в офицерской компании.

— Мы бовлей пунша справляем день рождения одного из наших юных, но бравых камадров, — объяснил толстяк довольно плавно по-французски, хотя и с сильным шведским акцентом, и дружески потрепал по спине од-

ного молоденького белобрысого и румяного «камрада». — Вот этого. Позвольте представить: фенрик Ливен, полковой наш Ганимед. Покорнейший слуга ваш — майор фон Конов. А мы, смею спросить, с кем имеем честь?..

Когда Иван Петрович отрекомендовался маркизом Ламбалем, прибывшим только что из Любека, то и остальные офицеры, державшиеся пока несколько поодаль, обступили его, чтобы поочередно, по обычаю шведов, крепко потрясти ему руку. Оказалось, что все они если и не совсем свободно объяснялись по-французски, то более или менее понимали французский язык, делавшийся уже в ту пору общеевропейским языком.

— То-то вы ничуть не похожи на уличного певца, — говорил майор фон Конов, любезно пододвигая гостю стул к столу с полуопорожненной «бовлей». — Пивали вы когда-нибудь настоящий шведский пунш? Нет? Так милости просим!

— Благодарю вас, — отвечал Иван Петрович, — но с самого Любека я, признаться, жил впроголодь. Не найдется ли тут чего-нибудь съестного?

— О, сколько угодно! Есть великолепнейшая невская лососина — сейчас нам подавали. Есть жареная курица... Впрочем, курица почтенного уже возраста...

— Почтение мое к старости не распространяется на жареных куриц, — весело отозвался Иван Петрович, — поэтому я предпочел бы лососину.

— Ха-ха-ха! — раскатисто залился фон Конов. — Кристина!

И вбежавшей на зов прислужнице он отдал по-фински короткое приказание. Вслед затем перед гостем появился чистый прибор и порядочный кусок лососины. Но для проголодавшегося молодого человека одного куса оказалось мало: он мигом его уничтожил и потребовал новую порцию. Шведские офицеры, перемигиваясь, с видимым сочувствием наблюдали за прекрасным аппетитом маркиза. Когда же он, справясь и со второю порцией, заказал разом еще две порции, «чтобышний раз, знаете, напрасно не беспокоить девушку», взрыв смеха прокатился с одного конца стола до другого.

— Как хотите, господин маркиз, — объявил

фон Конов, чокаясь с ним, — а рыбе надо поплавать.

Тут и остальные офицеры, один за другим, не замедлили чокнуться с маркизом, приговаривая:

— Scla! (На здоровье!)

Глава третья

*Умолкли все: их занимает
Пришельца нового рассказ,
И все вокруг его внимает.
Пушкин*

*Тебе сей кубок, русский царь!
Цвети твоя держава!
Жуковский*

— Один вопрос, господин маркиз, если вы не сочтете его нескромным, — обратился майор фон Конов к гостю, когда тот благополучно одолел обе новые порции и, отдуваясь, как от тяжелого труда, отер себе рот и руки поданным прислужницей полотенцем. — Есть у вас здесь, в Ниеншанце, родные или знакомые?

— Ни тех, ни других, — отвечал Иван Пет-

рович.

— Так какие-нибудь важные дела?

— И дел никаких. Но я — фанатически страстный охотник и никогда еще не охотился на лосей, которых во Франции и в заводе нет...

— У нас их, точно, вдоволь, особенно на одном острове, который так и называется Лосиный. Но тут, на Неве, теперь сильно пахнет порохом...

— Да! Ведь вы, кажется, воюете с русскими?

— Нам то не «кажется» только! Если вы видите нас нынче за товарищеской бовлей, то не потому, чтобы у нас здесь был вечный праздник. Мы, случается, по целым суткам не раздеваемся, не моемся, спим в глухом бору на сырой земле, едим, что Бог пошлет. Вот и ловим такие минуты братского веселья, потому что как знать? — не отлита ли уже на кого-либо из нас роковая пуля!

— Да русские разве уже так близко? — удивился Иван Петрович с тем же невинным видом.

— Как близко — вы можете судить по мое-

му головному убору.

И майор указал на лежавшую на столу шляпу, в которой виднелось сквозное круглое отверстие.

— Так это от русской пули?

— Да, и пуля та сидела бы наверняка в моей голове, и я не имел бы удовольствия теперь беседовать с вами, не дай мне капрал мой пощечины.

— Капрал дал вам пощечину? — недоверчиво переспросил гость.

— И здоровенную. Он вообще чересчур ретив, и мне не раз уже приходилось взыскивать с него за ручную расправу с нижними чинами. Но в этом случае привычка его пошла мне впрок. Было то с месяц назад, неподалеку отсюда, на реке Ижоре. Русские засели в кустах, мы шли обходом. Вдруг кто-то хватъ меня с размаху по щеке, так, что я кубарем покатился наземь. — Толстяк майор жестом очень картинно изобразил, как он покатился кубарем. — Но в тот же момент мимо меня просвистела пуля. А когда я поднял шляпу, слетевшую у меня с головы, то в ней оказалось это *memento mori*. Капрал мой, изволите

видеть, как раз вовремя заметил направленное на меня из кустов дуло русского мушкета и второпях не придумал другого средства свалить меня с ног, как то, которое он испытывал постоянно с таким успехом.

— И за такое оскорбление действием вы его не только не отдали под суд, но, пожалуй, представили к награде?

— Обязательно. Кроме того, я счел долгом совести от себя еще обеспечить ему старость приютом в моем доме[7].

— Но, живя этак в постоянном страхе перед неприятельской пулей, вы ни днем, ни ночью не должны знать покоя?

— Нет, одни трусы боятся опасности. Нашего брата, военного человека, она пугает только тогда, когда уже миновала. Впрочем, храбрость есть также своего рода привычка: тот самый солдат, который геройски идет на штурм крепости, где ему грозит почти верная смерть, на корабле, во время легкой даже качки, теряется и бледнеет, как слабонервный ребенок. Точно то же и с моряком: во время сильнейшей морской бури он с невозмутимым спокойствием видит перед собою смерть

в волнах, а посадите-ка его на резвого коня и заставьте перескочить канаву — он затрепещет, как осиновый лист, и от одного страха свалится с седла.

— Так русские теперь уже перед самым Ниеншанцем?

— Нет, мы им дали острастку, и они на время отретировались. Весь май и июнь наш адмирал Нумберс возился с ними на Ладожском озере: они разоряли наши берега, мы — их, пока наконец адмирал не захватил их посреди озера и не разбил наголову.

— Мы, впрочем, тоже лишились пяти шхун, — вставил юный фенрик Ливен, которому не терпелось, видно, заявить и о себе перед почетным гостем. — Две увели у нас, две сожгли, а одну потопили...

— Пустяки! Пустяки! И как вам не стыдно, Ливен, повторять эти бабьи сказки? — укорительно прервал неуместную болтовню фенрика фон Конов. — Несомненно одно: что командовавший русской флотилией полковник Тыртов в числе многих был убит нашей картечью, и флотилия его в замешательстве рассялась.

— И после того русские вас уже не тревожили? — продолжал допытывать Иван Петрович, которого живо заинтересовали успехи русского войска.

— На Ладогe — нет. Но Апраксин, главный начальник их в Ингрии, стянул свой корпус сюда ближе, на Ижору, где в июле и столкнулся с конницей нашего генерала Крониорта.

— И где вы сами, господин майор, с вашим капралом приняли такое деятельное участие?

— Вот именно.

— Но, по вашему рассказу, вы были как Будто не верхом, а пешком?

— М-да, на этот раз мы спешились... — замялся майор и покосился на чересчур откровенного фенрика: как бы опять не проврался?

Но тот понял взгляд его в превратном смысле: что шеф ищет в нем поддержки, а поддержать шефа сам Бог велит.

— О, вы не знаете еще наших лютых северных морозов! — воскликнул он. — Чтобы не отморозить ног, мы в походе зачастую слезаем с коней, а промерзшие стремяна, которые жгут, как огонь, нарочно тряпками обматываем...

— Неужели у вас и в июле месяце бывают такие сильные морозы? — удивился Иван Петрович и вопросительно огляделся кругом, но ответом ему был всеобщий громогласный смех.

Теперь и Ливен сообразил, что зарапортовался, и, покраснев, также рассмеялся:

— А вы и поверили? Ха-ха-ха!

— Спешились мы потому, что пехота наша несколько запоздала, — нашелся между тем майор, — а запоздала она вследствие проливных дождей, которыми все дороги размыло...

— И чем же кончился бой?

— Да, собственно говоря, ничем. Апраксин понес сильный урон, у нас тоже выбыла из строя малая толика. Когда мы отошли к Дудергофской мызе, русских и след простыл. От лазутчиков же мы дознались, что они повернули в Ливонию. Впрочем, для вас, господин маркиз, все эти имена — звук пустой.

— Не говорите. Мы, французы, едва ли не сама воинственная нация в Европе, и ни один кровный француз не может смотреть равнодушно на эту борьбу двух молодых гигантов, потому что царь Петр, не в обиду вашему Кар-

лу, тоже гигант.

— Ростом? — тонко улыбнулся фон Конов. — Вполне согласен: в нем, слышно, без малого сажень.

Пренебрежительный тон шведа задел нашего русского за живое.

— Не только ростом, господин майор, — возразил он, — но и...

Вовремя спохватившись, он на полуфразе запнулся.

— Но и мускульной силой? — тем же тоном досказал за него майор. — Второй враг наш, король польский Август, говорят, также большой силач...

— Да еще какой! — подхватил Иван Петрович, очень довольный тем, что может отвести глаза собеседников на третьего «гиганта». — Проездом через Германию я наслышался о нем просто чудес. Так, в Торне, говорят, где состоялось одно свидание Августа с Петром, в числе разных празднеств для двух монархов был устроен бой быков. И вот во время самого разгара боя, когда разъяренный бык с налитыми кровью глазами метался среди своих мучителей, король вдруг обнажил саблю и

сам сошел вниз на арену. У зрителей-поляков дух замер, потому что бешеный бык ринулся прямо на короля. Но король как ни в чем не бывало схватил быка за рога, отбросил его в сторону и одним взмахом сабли отсек ему голову с плеч.

— Ого! А царь что же? Не показал также своей силы?

— Показал...

— На быке же?

— Нет. «С животными я не сражаюсь, — сказал он, — подайте мне штуку сукна». И, подбросив сукно на воздух, он кортиком на лету разрубил его пополам. Король попробовал было сделать то же, но не смог. Приходит мне на память еще другой подобный же случай, но я, признаться, стесняюсь немножко передать его вам, господа...

— Почему?

— Потому что вы — шведы, и то, что говорилось двумя монархами про шведов, могло бы показаться вам обидным.

— Мало ли что говорят враги друг про друга. Неправда ли, господа? — обратился майор к товарищам-офицерам. — И надо же нам

знать, что говорят про нас враги!

— Само собою, не стесняйтесь, пожалуйста, господин маркиз, — раздались кругом голоса.

— Как прикажете, — сказал с поклоном наш маркиз, который не мог уже устоять против соблазна поиграть с огнем: сладостью национального напитка шведов скрадывалась его крепость, и несколько здоровых глотков пунша, вдобавок к выпитому незадолго перед тем на корабле капитанскому рейнвейну, удвоили легкомыслие и смелость молодого человека. — В первый раз Петр с Августом встретились на курляндской границе, у герцога курляндского Фердинанда, — начал он свой рассказ. — Герцог угощал их, разумеется, на серебре. Но прислуга как-то недоглядела, и королю Августу попалась нечистая тарелка. Без долгих слов он свернул ее в трубку и швырнул в угол. Петр, полагая что тот хочет похвастаться своей силой, точно так же свернул свою тарелку. Тогда Август взял у двух генералов, сидевших справа и слева от него, их тарелки и свернул обе разом. «И это не кунштюк», — сказал Петр и повторил то же. Перед каждым из государей стояло по массив-

ной серебряной чаше. Король взял свою чашу и сплюснул ее между ладонями. Царь взял свою и сплюснул ее не хуже. Хозяин же, герцог Фердинанд, сидел как на иголках, ни жив ни мертв: «Им-то, небось, потеха, а мне какво? Весь сервиз, поди, перепортят!» Увидел Петр его постную рожу, рассмеялся и говорит: «Ну, будет нам силу показывать, брат Август, серебро-то мы гнем изрядно, как бы согнуть нам и шведское железо».

— Да, пускай попытаются! — перебил рассказчика один из слушателей-офицеров.

— Но в этих словах царя я не вижу пока еще ничего для нас обидного, — возразил фон Конов. — Или, может быть, он добавил еще что-нибудь?

— Добавил.

— Что же такое?

— «Да будут мысли наши столь же тверды, как наше тело», — сказал Петр, пожимая руку Августу; на что тот ответил: «Да здравствуют две соединенные силы, и да рассеются враги в прах перед нами!» А герцог Фердинанд поклонился обоим и говорит: «Под защитой соединенных сил, даст Бог, моих курляндцев швед-

ский лев не проглотит живьем». — «Не бойся, брат, — сказал ему тогда царь со смехом, — для этого зверя у нас есть железные сети, а разинет он пасть, так дадим ему покушать картечи...» Извините, господа, еще раз, — заключил свой рассказ Иван Петрович, видя нахмуренные брови шведов, — но слова — не мои, за что купил, за то и продаю.

— Не странно ли, право, — с горечью заметил фон Конов, — что когда люди говорят правду, то извиняются, а когда говорят ложь, то и не думают извиняться? Но львиную пасть враги наши, значит, все-таки признают? Царю Петру также не избежать ее, а король Август уже благополучно проглочен.

— Как понимать вас? Разве он уже убит или в плен взят?

— Ни то, ни другое. Но именовавшийся доселе королем польским Августом II сошел навсегда со сцены: решением нашего Карла с кардиналом — примасом польским и коронным казначеем Лещинским в Варшаве, он низложен с престола.

— И кого же прочат на его место?

— Французский посол, говорят, предлагает

одного из наших французских принцев. Но наш Агамемнон пока не сдается, да и до того ли ему теперь, когда он занят осадой Торна? Господа! — торжественно возгласил майор, вскакивая со стула и поднимая высоко стакан. — За здоровье его величества, первого льва и монарха Европы!

Все присутствующие шведы, как один человек, вскочили также со своих мест, и стаканы кругом зазвенели. Только гость их, маркиз Ламбаль, не тронулся с места.

— А вы что же, господин маркиз? — спросил фон Конов. — Или вы не одобряете моего тоста?

— Извольте! — сказал с внезапной решимостью Спафариев, поднимая также свой стакан. — За здоровье его величества, первого льва и монарха Европы!

Он дословно повторил тост майора, но с такой интонацией, что фон Конов счел нужным попытаться:

— А вы кого считаете первым львом и монархом? Вопрос был поставлен ребром, наш герой, если не желал только отчураться от собственного царя, очутился в безвыходном

положении. Но на выручку ему, как не раз уже прежде, явился его верный калмык Лукашка.

Под самыми окнами ресторации, открытыми, как сказано, настежь, защелкал соловей. Все пирующие невольно обернулись.

— Что за диво? — заметил фон Конов. — В августе месяце соловей?

— А это камердинер мой, Люсьен, — объяснил Иван Петрович, у которого как гора с плеч свалилась. — Эй, Люсьен, поди-ка сюда!

Когда же камердинер появился на пороге, господин предложил ему показать господам офицерам один из своих фокус-покусов.

— Мистер Пломпуддинг на морских купаниях! — объявил калмык и в тот же миг обратился в чопорного, проглотившего аршин англичанина.

С опаскою человека, не смеющего войти в холодную воду, он осторожно выставил вперед один носок — и быстро отдернул, потом другой носок — и опять отдернул. Но — была не была! Шаркая по полу, как бы от некоторого сопротивления волн, он решительно двинулся вперед, заткнул себе пальцами уши и

ноздри и присел на корточки, точно окунываясь в воду; потом разом вытянулся и важно прочесал себе пальцами несуществующие бакенбарды.

— Б-р-р! Goddam! Однако волны! — проворчал он и подставил спину небывалым волнам.

Под напором их он изгибался всем корпусом так комично-картинно, что можно было только удивляться, что не видать самих волн. Но прибой, видно, делался все сильнее, потому что сбил вдруг мистера Пломпуддинга с ног. Несколько раз пытался он приподняться, но всякий раз его снова опрокидывало. Ничего не оставалось, как выбраться из воды ползком. Как утопающий за береговой камень, он судорожно ухватился за край стула; но тут неожиданно нырнул вдруг за высокую спинку. Что это значит?

— Восход солнца! — провозгласил он, и когда теперь из-за стула выплыла снова его широка калмыцкая рожа, на ней была разлита такая солнечно-блаженная улыбка, что ни у одного из зрителей не могло быть сомнения, что перед ними уже не англичанин, а восхо-

дующее солнце. Но вот сияющее светило заволокло мрачными тучами: из прищуренных глазных щелок сверкнула молния, а из надутых щек загремел гром. Молния за молнией, раскат за раскатом, все тише, тише — и солнышко опять проглянуло с улыбкой до ушей.

Зрители были в таком радужном настроении, что и менее артистическое исполнение вызвало бы у них полное одобрение. Горница огласилась шумными рукоплесканиями и криками восхищения.

— Да он у вас совершенный Протей, — сказал фон Конов, который, как, вероятно, заметили уже читатели, по обычаю того времени, охотно прибегал к метафорам из классической древности.

— Совершенный Прометей! — в тон начальнику подхватил Ливен, недослышавший хорошенько.

— А скажите-ка, Ливен, — с усмешкой спросил его майор, — кто, бишь, был Прометей?

— Прометей?..

— Да, Прометей. Военный или штатский?

— Разумеется, штатский, — с апломбом

уже отвечал Ливен, вдруг припомнив что-то и просветлев. — Разве военный стал бы красть — хотя бы огонь для... для...

Фенрик опять спутался.

— Для свежей бовли? — сказал майор. — А нам бы пора заварить свежую.

— Ха-ха-ха! Браво, Ливен! Браво, фон Конов! — раздалось кругом.

Между тем калмык успел шепнуть пару слов своему господину, и тот, бросив при-служнице два червонца, взялся за шляпу.

— Куда вы? — спросил фон Конов.

— Да вот корабль наш уже с рассветом двинется далее. Как бы не ушел без меня.

— Так на прощанье последний «scal»? Ганимед! Вы чего смотрите? Для дорогого гостя стакан еще найдется.

Полковой кравчий не замедлил исполнить приказание.

— Пить ли еще или нет? — сказал Иван Петрович, глубокомысленно рассматривая на свет полный стакан. — Желудок мой говорит: «Да». Рассудок мой говорит: «Нет». Но так как рассудок умнее желудка, а умный всегда уступает, то, стало быть, да! За доброе знакомство,

господа!

Еще несколько прощальных фраз, несколько крепких рукопожатий — и, тяжело опираясь на руку своего камердинера, наш маркиз Ламбаль неуверенною поступью выбрался на крыльцо, а оттуда вниз к лодке, сопровождаемый из окон *besokareliuset* дружескими криками шведов:

— До свидания в Ниеншанце!

Глава четвертая

...объехать острова —

От мысли уж одной кружится голова!

Я мигом облетел; Васильевский, Петровский,

Елагин, Каменный, Аптекарский, Крестовский...

Хмельницкий

Кто в настоящее время на пароходе или в колесном экипаже совершает увеселительную прогулку по невским островам, тому трудно себе и представить, чем была эта местность за несколько месяцев до основания Петербурга. Где теперь с острова на остров расстиляется необозримый парк с извилистыми

проезжими аллеями и утрамбованными пешеходными дорожками, с зеркальными заливами и искусственными прудками, с перекинутыми через них мостами и мостиками, бесчисленными дачами и дачками, между которыми, дымясь, возвышаются черные трубы фабричных громад, — там в описываемую нами эпоху была почти сплошная, однообразная лесная топь и глушь. Поэтому мы не станем следить во всех подробностях за плаванием «Морской чайки» от взморья до Большой Невы[8], тем более что и герой наш, которому камердинер вынес тюфяк из душной каюты на палубу, проспал, накрывшись с головою плащом, добрую половину пути, не чая, что матросы бесцеремонно шагают через его грешное тело, а шкипер Фриц Бельман, споткнувшись раз об его вытянутые ноги, посулил соне-маркизу «крейц-шокк-доннер-веттера».

Скажем только, что «Морская чайка» взяла обычный тогда курс коммерческих судов — по Средней Невке, представлявшей в то время более безопасный фарватер, чем два главных невских русла, которые, несмотря на

принятые уже шведским правительством меры к их очищению, вследствие быстроты течения, постоянно заносились вновь песком и камнями.

Пока господин его покоился сном праведных, Люсьен-Лукашка примостился на вышине фок-мачты (передней мачты) к уединившемуся здесь, на фок-марсе, старику-матросу Мартину Брюгге. Последний, получивший от товарищей-матросов за свою нелюдимость и мрачный вид прозвище «морского волка», в сущности, был только глубоко несчастным человеком. За пять недель совместного пребывания на судне Лукашка участливыми расспросами исподволь, слово за словом, узнал всю немногосложную историю бедняги. Сводилась она к тому, что много лет назад Мартин Брюгге был не простым матросом, а рулевым и счастливым семьянином. Но раз, при сравнительно коротком рейсе от Гамбурга до Амстердама, он с разрешения шкипера взял с собой на корабль жену и единственного малютку-сына: очень уж молодой жене его хотелось побывать в соседней столице. Но при самом выходе в море на корабле вспыхнул по-

жар. Жену Мартина с ребенком в числе первых спустили в спасательную шлюпку. Но в суматохе бросившихся туда с палубы пассажиров шлюпку опрокинуло. Мартин Брюгге, как рулевой, не смел покинуть свой пост, пока огонь на корабле не добрался до руля. Тогда он с значительными ожогами бросился также в воду. Из последних сил доплыл он до берега. Туда между тем прибило волнами и тела его жены и сына, но тела были уже бездыханны. С тех пор Мартин Брюгге сам разжаловал себя опять в простые матросы, и никто уже не видел улыбки на его молчаливых губах. Когда товарищи его, случалось, собравшись в кружок, болтали, дурили, он удалялся на противоположный край корабля, и только падавшие там на палубу звучные плевки свидетельствовали, что он утешается в своем одиночестве табачной жвачкой. Лукашке нашему, однако, как сказано, удалось раскрыть безмолвные уста: «морской волк» видимо оживился, когда любознательный калмык-француз завязывал с ним какой-нибудь дельный, осмысленный разговор.

На этот раз, впрочем, Лукашка хотя и по-

глядывал тоже направо да налево, но явно был занят собственными мыслями и не делился ими со стариком-матросом. Видел он, конечно, и взвившуюся при приближении «Морской чайки» из береговых камышей Мусмансгольма (Елагина) стаю диких уток, видел на берегу Ристисари (Крестовского) грубо сколоченную бревенчатую избушку, на нижней ступеньке которой сидела за починкой рыбацкого невода молодая баба, монотонно напевая финскую колыбельную песню и босой ногой качая первобытного вида люльку; видел, наконец, при слиянии Большой и Средней Невки в дощанике двух рыболовов-финнов, вытаскивавших сети и поспешивших на ходу сбыть повару «Морской чайки» какую-то крупную, еще трепещущую рыбу. Но все это, казалось, занимало калмыка не более, как и комментарии Мартина Брюгге о том, что Мусмансгольм — собственность ниеншанцского старожила Мусмана, который наезжает сюда из города только изредка, чтобы поохотиться на куропаток да уток, или о том, что на Койвисари (Березовом острове, нынешней Петербургской стороне) шведский

король Густав Адольф собирался было поселить колонию мекленбургских крестьян, и лишь за внезапную смертью короля дело не состоялось, но что среди вековой березовой рощи до сих пор существует там еще основанная покойным королем казенная ферма, снабжающая великолепным молоком и маслом весь ниеншанцский гарнизон.

— Да ты меня, поди, и не слушаешь? — отплеывая табачную жвачку, заметил в сердцах «морской волк», потому что Люсьен то пытливо озирался по сторонам, словно вымеривая расстояние от берега, то пригибался вниз, точно стараясь через борт судна проникнуть взором до самого дна реки.

— А что, здесь фарватер везде достаточно глубок, чтобы могли проходить и военные суда? — спросил тот в ответ.

— Военные? — недоумевая, повторил Мартин Брюгге. — Да тебе-то на что?

— А я так, вообще, спросил... потому что военные суда сидят глубже коммерческих, — поправился Лукашка.

— При истоке сюда из Большой Невы есть отмель, которую вода покрывает всего на

пять футов и которая поэтому для больших судов довольно опасна.

— Та-ак... А нельзя ли в Ниеншанце раздобыть навигационную карту Невы?

— Да тебе-то на что, Люсьен? — еще более удивился старик.

— А мы с маркизом, видишь ли, хотим открыть постоянные рейсы из Тулона в Ниеншанц, только покуда, Мартин, чур, это между нами.

— Ты, Люсьен, не шутишь?

— Какие шутки! Дело почти решенное. А вот что еще, скажи-ка, Мартин: с Ладоги сюда на взморье нет для судов другого выхода, кроме Невы?

— Речки-то отдельной, сколько мне известно, нет, только пониже Ниеншанца, где Нева делает крутой поворот, от нее до взморья идет крупный проток.

Старик разумел нынешнюю Фонтанку.

— Досадно! — пробормотал про себя Лукашка.

— Что досадно?

— Ну, да, впрочем, и то, может быть, как-нибудь пригодится.

— Да ты, Люсьен, о чем это? — недоумевал Мартин Брюгге. — На что коммерческим судам этакий неведомый проток, коли есть прямой обследованный путь?

Мог ли Люсьен выдать, что он задался безумно смелой мыслью: провести русскую флотилию с Ладоги на взморье, чтобы дать ей возможность напасть затем на Ниеншанц одновременно с двух сторон — с Ладоги и с моря?

Мартин Брюгге, впрочем, и не дождался ответа, потому что «Морская чайка» приблизилась как раз к упомянутой им отмели при входе в Большую Неву, и с палубы раздалась команда шкипера:

— Марсовые, к вантам!

Поднявшаяся на корабле суматоха разбудила тут и заспавшегося маркиза Ламбаля. Кликнув Люсьена, он спустился с ним в каюту, чтобы привести в порядок свой туалет. Когда оба возвратились опять на палубу, «Морская чайка» благополучно миновала уже отмель и завернула в Большую Неву. Хотя двести лет назад невские берега не были еще заключены в монументальный гранит и по

ним еще не теснился ряд каменных палат, но широкая, быстротекущая, кристальной чистоты река была обрамлена природными кулисами — нетронутым еще человеческой рукой вековым лесом и в лучах полуденного солнца представляла чрезвычайно живописный, даже величественный вид.

Спафариев, не лишенный, как уже замечено, чувства прекрасного, невольно загляделся. А тут из густой чащи правого берега выступил настоящий барский дом в два жилья с небольшой пристанью.

— Фон Конова мыза, — услышал он за собой старческий голос Мартина Брюгге, отвечавшего на вопрос Люсьена.

— Майора фон Конова? — переспросил тот.

— Да. Владения майора тянутся вон куда — до самого взморья...

Продолжение разговора обоих Иван Петрович уже не расслышал, потому что был отвлечен более насущным делом: стюард вместе с чашкой кофе подал ему только что сваренную поваром рыбу с объяснением, что это — сиг, лучшая невская рыба, и нарочно для него, господина маркиза, поутру у рыбаков

куплена.

Надо ли прибавлять, что от хваленной рыбы через четверть часа остались одни косточки?

Тем временем «Морская чайка» широкою дугою обогнула крутое колено Невы у теперешней Смольной набережной и на левом берегу Невы показался ряд одноэтажных городских домиков, а далее — окруженная валом каменная крепость.

То был Ниеншанц, передовой укрепленный пост шведов, служивший им оплотом от русских на Балтийском море.

Глава пятая

Ходит спесь надувающихся...
Л. Толстой

«Подбирай, честной народ!» —
Закипела свалка знатная...
Некрасов

Голубенький, чистый
Подснежник-цветок...
Майков

Там, где река Охта, приняв в себя речку Чернавку, под острым углом впадает в Большую Неву, двести лет тому назад сосредоточивалась вся городская жизнь Ниеншанца. Цитадель возвышалась на выдающемся при слиянии двух рек мысе, где в настоящее время стоит старая Петровская верфь; сам же город, прятавшийся некогда позади цитадели, между Охтой и Чернавкой, с увеличением населения по необходимости перекинулся на правый берег Охты и растянулся отсюда по невшскому побережью. Для простых барок с дровами и строительными материалами была отведена река Охта; коммерческие же суда (которых в общем числе в течение навигации приходило свыше ста) чинным рядом стояли по набережной Невы, уступив только на самом углу местечко лодочникам для перевоза на ту сторону реки, где также виднелось какое-то поселение.

Как на судах, так и на пристани замечалось обычное в портовых городах суетливое оживление. Оживление это перешло и на «Морскую чайку», когда на нее с берега была переложена сходня. Несколько рабочих-но-

сильщиков, слонявшихся на берегу без дела, перебежали тотчас на палубу вновь прибывшего судна и второпях чуть не столкнули со сходни в воду перебиравшегося на берег Ивана Петровича.

— Экие медведи, прости, Господи! — говорил он своему неразлучному личарде, Лукашке, когда оба благополучно добрались до суши. — А какое ведь, братец, блаженное чувство, когда у тебя опять твердая почва под ногами! Только городок-то не больно важный: домишки маленькие и, вместо палисадников, вытянули вперед какие-то сараища...

— А это у них, знать, складочные магазины: чтобы, значит, товары с кораблей сподручнее было выгружать без перевозки. Но вон, погляди-ка, сударь, и совсем барское шато с фронтоном и с садиком за железной решеткой.

— И то, домик хоть куда, весьма даже авантажный, — согласился Иван Петрович и обратился по-французски к выходившему только что из калитки садика господину с вежливым вопросом: — Позвольте узнать — чей это дом?

Тот, мужчина средних лет, представитель-

ного и несколько надменного вида, сперва оглядел вопрошающего в головы до ног — не с неба ли он свалился? — а затем ответил по-немецки:

— Дом этот — коммерции советника Фризиуса. Сказано это было также довольно вежливо ввиду приличной внешности вопрошающего, но все же с таким оттенком оскорбленного собственного достоинства, что Иван Петрович невольно догадался:

— Не с самим ли господином коммерции советником я имею честь?..

— Да. А вам, mein Herr, ко мне?

— Нет, но я благословляю счастливый рок свой, что он с первых же шагов в Ниеншанце свел меня с одним из первых, конечно, граждан города. Я — вольный турист, маркиз Ламбаль, и сейчас только прибыл. У вас, без сомнения, есть также груз на нашей «Морской чайке»?

— Есть. А она не потерпела аварии?

— О, нет! Могу засвидетельствовать, что капитан наш, Фриц Бельман, как человек хотя и неудобоварим, но моряк первостатейный. Позвольте еще побеспокоить вас вопро-

сом... — «А, sapristi! о чем бы еще спросить его? — подумал про себя Иван Петрович, которому хотелось, во что бы то ни стало, завязать сейчас знакомство „с одним из первых граждан“. — „Ну, да все равно!“ — Вот на той стороне Невы, я вижу, тоже дома: что там, предместье Ниеншанца?

— Нет, это русское селение Смольна.

— Русское, говорите вы? Откуда взялись у вас здесь русские?

— А еще с новгородских времен. Они здесь рассеяны повсюду. Это, так сказать, неизбежное и даже полезное зло среди коренного финского населения — *malum necessarium*.

— Так они смышленнее, способнее финнов?

— М-да, предприимчивее: есть между ними и мелкие торговцы, и огородники... А Смольна вон вся заселена русскими смолокурами. Но прошу извинения, *mein Herr*, мне время дорого. *Carpe diem*. Пользуйся днем.

И, слегка коснувшись рукой края шляпы, коммерции советник с высокоподнятой головой, неспешным шагом направился к „Морской чайке“.

— Туда же ведь — сыплет латынью, как зо-

лотыми, золотой мешок! — усмехнулся Иван Петрович, провожая удаляющегося глазами. — А как я, право, рад, что встречу здесь опять с земляками...

— Ты, сударь, и то расспросами своими об них чуть не выдал себя этой жар-птице, — предупредил калмык. — Того гляди, встретишься с русским, ляпнешь еще по-нашему... Лучше бы и нам с тобой говорить всегда по-французски.

— На улице — можно. *Eh bien, mon cher...* Продолжая разговор уже на французском языке, они берегом Охты скоро вышли на базарную площадь, находившуюся на том самом месте, где теперь стоит церковь Святого Духа. Около нагруженных разными деревенскими продуктами телег и таратаек лениво слонялись хозяева — чухна, попыхивая из своих коротких „пипок“; а на голой земле группами прикорнули босоногие, в пестрых, бьющих в глаза цветов национальных плахтах торговки-чухонки с полными корзинами яиц, масляными кадушками и молочными кувшинами. В ожидании покупателей они без умолка так громогласно на всю площадь тараторили

меж собой на своем негармоничном языке, что Лукашка не утерпел передразнить их и загоготал по-гусиному. Обиженные торговки загоготали теперь уже на самого шутника, но в то же время позади наших путников раздался громкий одобрителный смех. Они оглянулись.

Смеялся стоявший тут же с ручной тележкой продавец яблок. Типичные с окладистой бородой великорусские черты лица, а главное — задушевный смех не оставляли сомнения, что это кровный русак. От его добродушной веселости веяло чем-то таким родным, что Спафариев не мог удержаться — подошел к торговцу с вопросом:

— Русский?

Из осторожности он произнес одно только это слово, но по чистому московскому выговору русское ухо тотчас признало в нем своего. Лицо продавца просияло.

— А сам ты, батюшка, тоже русский? Не купишь ли яблочков? Отборные! С маленьким кваском, но сочные, так что слюнки потекут! Откушай-ка штучку. Не бойсь, сударик, ничего с тебя за то не возьму.

— Qu'est ce que cela veut dire? (Что это значит?) — поспешил по-французски вмешаться Лукашка и подмигнул своему господину на тот край площади.

В самом деле, от моста через Охту приближался к ним, звеня саблей и шпорами, вчерашний знакомец, майор фон Конов.

— Ба! Маркиз Ламбаль! — говорил толстяк-майор, отдуваясь и с такой силой потрясая руку маркиза, точно хотел ее выдернуть из плеча. — Очень, очень рад! Что это вы — к яблокам прицениваетесь?

— Хочу прицениться, да вот не разберу, что он говорит такое?

— А вам сколько штук? Десяток?

— Нет, всю тележку.

— Как всю? На что это вам?

Не мог же Иван Петрович признаться, что ему необходимо отблагодарить этого первого земляка на чужбине за братское предложение — даром „откушать штучку“.

— А вот сейчас увидите, — отвечал он. — Узнайте только, пожалуйста, что он требует?

На сделанный майором по-фински вопрос продавец, знавший, конечно, местный язык,

отвечал, что дешевле пятидесяти крон, ей-ей, отдать не может.

— Это сколько же? — спросил Спафариев, передавая майору свой кошелек. — Будьте добры, рассчитайтесь.

Тот стал рассчитываться с торговцем. Иван Петрович же, взявшись руками за край полной яблочков тележки, перекувырнул ее. Яблочки, подпрыгивая, рассыпались, покатались кругом по земле.

В первый момент рыночные торговки, не упускавшие уже из вида наших туристов, были, видимо, поражены небывалой выходкой чужестранца и сочли его, вероятно, за полоумного. Когда же он теперь любезным жестом весьма наглядно пригласил их не церемониться, они не дали повторить себе приглашения и наперерыв бросились подбирать с земли даровое угощение в передники и за пазуху. Не обошлось при этом, разумеется, без завистливой брани и легкой потасовки, причем у одной торговки был опрокинут кувшин с молоком, у другой — корзина с яйцами. Но сцена вышла тем оживленнее и разом собрала кучку зрителей. Только самому торговцу

было словно жаль своего „отборного“ товара.

— И смех, и грех! — говорил он, почесывая за ухом.

— А! Фрекен Хильда? — заметил фон Конов, подходя с поклоном к одной из зрительниц, барышне-подростку.

Та, как уличенная в шалости школьница, вся зарумянилась и, пробормотав что-то, поспешила вместе с сопровождавшей ее горничной выбраться вон из толпы. Но, несмотря на то, что на ней было еще коротенькое платьице и золотисто-белокурые волосы ее были сплетены сзади в две длинные косички, она была уже так стройна, свежее личико ее было так миловидно, что Иван Петрович, не отрываясь, глядел ей вслед.

— Кто это? — спросил он майора.

— А фрекен Хильда Опалева, дочь коменданта здешней цитадели, — был ответ. — Заметили вы у нее в руках книжку?

— В черном переплете с золотым обрезом?

— Да. Это — священная история: фрекен Хильда ходит к пастору в ученье перед конфирмацией.

— Но ей ведь лет не более тринадцати?

— Нет, уже четырнадцать минуло. И то было бы рано подтверждаться, но жених торопит...

— Она уже невеста!

— Негласная. Но в этакое маленькое городке всякий секрет, — как у вас, французов, говорится, — *un secret de polichinelle*.

— И выходит, вероятно, за какого-нибудь друга детства?

— Нет, за человека, который мог бы быть ей чуть не отцом: первого здешнего денежного туза, Фризиуса.

— Коммерции советника?

— А вы, господин маркиз, почему знаете?

— Случайно только что познакомился с ним.

— Почтенный и, можно сказать, ученый муж. Отец его, здешний немецкий пастор, готовил его себе в преемники и отдал сперва в Упсальский университет.

— То-то он так и мечет латинскими фразами!

— Да, это его и сила, и слабость.

— Но тем не менее он выбрал коммерческую карьеру, чтобы скорее нажиться?

— Нажил он, точно, говорят, миллионы, но опять-таки благодаря только своему замечательному трудолюбию, коммерческой сметке и в особенности безупречной честности.

— И комендант ваш продал ему свою дочку?

— Как вам сказать?.. Фрекен Хильда, кажется, ничего не имеет против жениха. Отца же всего более, я думаю, подкупил патриотизм коммерции советника, который без процентов, на неопределенный срок ссудил нашего короля Карла XII очень крупною суммой в войне с русскими.

— Ah, sacrebleu! — невольно вырвалось у Ивана Петровича?

— Как?

— Нет, ничего... Я удивляюсь только бескорыстием господина коммерции советника. Но кто это вон там на мосту остановил его невесту? Никак фенрик Дивен.

— И то ведь он! Понять юноша не хочет, что самому ему нет уже никаких надежд. Надо спасти бедненькую.

Они направились к мосту через реку Охту, по середине которого, действительно, гарде-

вал на коне молодой фенрик, нарочно заграждая этим путь дочке коменданта. При виде своего начальника и французского маркиза Дивен несколько смешался и с напускною развязанностью приветствовал обоих:

— Мое почтение, господа... Я вот показываю только что *mademoiselle* моего нового Буцефала...

— А вы почему дали за фунт? — спросил фон Конов, хлопая не в меру откормленного коня по выхоленной спине.

Фрекен Хильда поторопилась воспользоваться появлением майора, чтобы проскользнуть на ту сторону задерживавшего ее живого шлагбаума.

— Виноват, фрекен! — крикнул ей вслед молодой фенрик, тотчас опять поравнявшись с нею. — Я забыл еще рассказать вам: я видел нынче во сне мою мамашу... И знаете ли, что она говорила про вас, что поручила мне?..

Девочка, делая вид, что не слышит, продолжала идти вперед.

— Вы совсем не любопытны! — не отстаивал неутомонный. — Она велела мне кланяться вам! Она так хорошо еще помнит вас из

Стокгольма. Куда же вы так торопитесь, фрекен? Не будет ли у вас хоть какого-нибудь поручения?

— Ах, да! Пожалуйста, — ответила вдруг фрекен Хильда.

— Приказывайте!

— Когда увидите во сне опять вашу мамашу — не забудьте поклониться ей тоже от меня.

И, залившись вдруг серебристым смехом, девочка так быстро упорхнула далее, что пожилая служанка, запыхавшись, едва могла поспеть за нею.

Ливену ничего не оставалось, как повернуть коня, но неизменная, наивно-самодовольная улыбка, обнажавшая белый ряд зубов, ни на минуту не сходила с его цветущего лица.

— Шалунья! — сказал он, подъезжая опять к двум другим мужчинам. — Знаете ли, господин маркиз, какую она раз с нами, офицерами, штуку проделала?

— Ну?

— Были мы как-то прошлой зимой в гостях у отца ее, полковника Опалева. Простившись

наконец, собираемся в прихожей надеть в рукава шинели. И что же? Никак не можем попасть в рукава. Что за притча! Смотрим, а она, злодейка, во всех шинелях зашила рукава!

Оба слушателя рассмеялись.

— Да, зимой она была еще совершенным ребенком, — сказал фон Конов. — Но теперь она не позволит уже себе ничего подобного.

— Жениха, вы думаете, побоится? Он точно следит за нею глазами арги... арго...

— Аргонавтов? — подсказал майор.

— Вот-вот!

— А может быть, Аргуса?

Теперь Ливен смекнул, что балагур-начальник подвел его, но из чувства субординации не посмел обидеться. Только нежно-румяные щеки его окрасились в багровый цвет, но губы по-прежнему приятно улыбались.

— У меня и из головы вон, что комендант послал меня по одному делу... — как будто вспомнил он вдруг. — До свиданья, господа!

И, хлестнув коня, он молодецкато поскакал далее.

— Добрейший малый, но на несколько глу-

постей опередил свой век, — заметил фон Конов.

— И зачем он всегда улыбается?

— А чтобы не лишать других удовольствия видеть его славные белые зубы. Ведь ему ничего же не стоит?

Глава шестая

Плутовка к дереву на цыпочках подходит,

Вертит хвостом, с вороны глаз не сводит...

И на приветливы Лисицыны слова

Ворона каркнула во все воронье горло:

Сыр выпал — с ним была плутовка такова.

Крылов

— Однако солнце-то у вас здесь, на севере, тоже припекает, — заметив Спафари-ев, сняв шляпу и отирая себе платком разгоряченный лоб. — Ваш магистрат не дошел еще до того, чтобы, по примеру Западной Европы, устроить для обывателей тенистое место для прогулок?

— Городской сад? Как же, да еще какой!

Есть чем похвалиться, — отвечал фон Конов. — Я, кстати, до обеда свободен: угодно — провожу вас?

— Крайне обяжете.

По пути к саду майор пояснил, что городской сад, собственно, называется госпитальным садом от устроенного рядом с ним госпиталя — общественной богадельни; что далее за городом, по Выборгскому тракту, на берегу Невы, есть еще великолепный парк, так называемый «комендантский»[9], где более природы; госпитальный же сад — последнее слово садового искусства.

Перейдя деревянным мостом через обрушившийся старый крепостной вал и заросший травой ров, они вскоре очутились перед воротами городского сада, на которых была прибита дощечка со шведской надписью.

— Все, как у вас на Западе, — говорил фон Конов, указывая на эту надпись: «Цветов не рвать, травы не мять, собак не водить». — А чтобы это действительно соблюдалось, к воротам, как видите, и сторож приставлен.

Последний, подслеповатый старичок-инвалид, при приближении офицера приподнялся

со своей завалинки и отдал честь. Вдруг около них раздался собачий лай.

— Простите, ваша милость, — обратился инвалид к майору, — но собак водить нельзя.

— Да где же она? — спросил тот, озираясь кругом. — С нами нет собаки.

Сторож, ковыляя на своей деревяшке, заметался вокруг господ. За спиной его снова затыкала собачонка. Он оглянулся, но там не было никого, кроме следовавшего за двумя господами ливрейного слуги.

— Это Люсьен мой опять дурит, — объяснил майору Иван Петрович.

Тот снисходительно только пожал плечами.

Отделенный от загородных огородов высоким дощатым забором, ниеншанцкий госпитальный сад представлял вполне замкнутый в себе растительный мирок. Рассаженные живописными купами или правильными аллеями дубы и липы, березы и клены были тщательно изуродованы ножницами садовника то по образу шарообразных померанцевых деревьев, то наподобие пирамидальных кипарисов, то в виде сплошной, непроницаемой

лиственной стены. Дорожки, плотно утрамбованные и посыпанные песком, были проложены с самой строгой симметрией, приводя и справа и слева всегда к одной и той же пышной цветочной клумбе, на которой цветы всех колеров были расположены с такой же педантичной правильностью. Симметричность эта нарушалась только резвившимися вокруг клумб ребяташками да сидевшими тут же на скамейках нянюшками, вязавшими чулки и, как водится, пересуживавшими меж собою господ.

— Ну, что, чем не ваш Версаль или Фонтенбло? — говорил не то шутя, не то самодовольно фон Конов. — А между тем отсюда до чертова логова — Паргала — рукой подать.

— Паргала? Это что же такое?

— А по-фински «паргала» или, вернее, «пергеле» не более не менее, как «черт». Ведь простому народу везде чудится нечистая сила. Ну, а местность по выборгскому тракту, которой дали здесь такое имя, действительно — глушь непроходимая, гнездо разбойничье, и протечет еще добрая сотня лет, пока нам удастся привить и там европейскую

культуру.

Шведский майор отчасти только был прав: потребовалось, точно, чуть не две сотни лет, но не шведам, а русским, чтобы обратить прежнее «чертово логово» с окружающими дебрями и непролазными болотами в «европейски-культурное» дачное место. А что сказал бы еще фон Конов, если бы ему предсказали, что тот самый городской сад, которым он, по-видимому, так гордился, со временем будет служить лишь местом вечного успокоения — кладбищем одной из самых заброшенных городских окраин — Большой Охты?

— В этих насаждениях чувствуется гениально-причудливый стиль нашего великого придворного садовника Ленотра, — отозвался Иван Петрович, чтобы сказать что-нибудь приятное своему любезному путеводителю.

— Не правда ли? — подхватил с живостью фон Конов. — В особенности, надо признать, много стараний об украшении нашего богоспасаемого города прилагает коммерции советник Фризиус. По его указаниями, например, а главное — его же иждивением устроен вот этот «лабиринт» — неизбежная принад-

лежность современных садов. Угодно вам взглянуть? Или же сперва отдохнем тут в боскете?

— Да, не мешало бы: нагулялись до третьего пота. Они уселись в боскете; калмык же, отломив с куста цветущую ветку, стал обмахивать господ, отгоняя от них игравших в солнечных лучах мух и мошек.

— Простите мне, господин майор, мое любопытство, — заговорил он с простоватой миной. — Вопрос, может быть, очень глупый и неумный, но вы, по доброте вашей, не поставите мне в вину...

— Спрашивайте, любезнейший, — милостиво разрешил фон Конов. — Что вы хотите знать?

— Да вот-с... Когда мы проходили сюда, по пути нам попались вал да ров.

— Ну?

— Вал вконец обвалился, а во рву ни капельки воды. Город ваш с этой стороны, стало быть, совсем открыт?

Светлые черты веселого майора на минуту омрачились.

— Вопрос ваш вовсе не так глуп, — сказал

он со вздохом. — Действительно, нельзя не пожалеть, что со времени последнего разгрома Ниеншанца, с лишком сорок лет назад, прежний вал уже не восстановлен. Теперь город так разросся, что его никаким валом не обведешь. Одним городским мальчишкам раздолье — играть на валу и во рву! Но недалеко позади вот этого сада возведено у нас полевое укрепление. Правда, это не то, что сплошной крепостной вал... У меня от покойного отца сохранился еще генеральный план прежнего Ниеншанца... Впрочем, для вас, Люсьен, этаким план — тарабарская грамота.

— Это что же — вроде панорамы? У господина маркиза есть тоже панорама Рейна...

Фон Конов громко расхохотался над невежеством француза-камердинера.

— Ну, план мой, пожалуй, тоже панорама, только с высоты птичьего полета. Как-нибудь при случае покажу. Вы, господин маркиз, где квартируетесь здесь в Ниеншанце?

— Везде и нигде.

— То есть?

— Пожитки мои еще на корабле, а сам я, как видите, слоняюсь по белу свету, пока не

обрету пристанища. Я — фаталист и представляю все судьбе: куда заведет, туда и при-
ткнусь.

Фон Конов дружелюбно похлопал его по спине.

— Так благодарите же вашу судьбу: я — человек вдовый, одинокий, принять у себя в доме такого милого представителя великой Франции мне и лестно, и приятно. Переберитесь-ка сейчас ко мне?

— О широком гостеприимстве северян я наслышался давно, — отвечал «представитель Франции», с теплотою пожимая руку майора, — и не откажусь хотя бы уже для того, чтобы прославлять потом шведское хлебо-сольство.

— А я постараюсь оправдать нашу славу. Для такого дорогого гостя мне надо будет заказать еще экстренное блюдо. Так не повернуть ли нам обратно?

Когда они проходили снова мимо бегавших вокруг цветочной клумбы детей, инвалид-сторож оказался тут же и принялся тотчас ворчать на играющих, чтобы показать перед майором свое служебное усердие. Но вни-

мание служивого было внезапно отвлечено совершенно необычными в общественном саду звуками — хрюканьем свиньи. Инвалид растерялся, потому что хавронья должна была быть в двух шагах; между тем видать ее нигде не было. Догадался он о виновнике мистификации лишь тогда, когда, как бы в ответ хавронье, завизжал поросенок и ребятишки всею оравой, ликуя, бросились следом за Лукашкой. Но фон Конову такая непрошенная свита, видимо, была не по душе, и Иван Петрович сделал камердинеру серьезное внушение — не паясничать в присутствии господ. Но калмык достиг своей цели — еще более утвердил в шведском майоре мнение о его, Люсьена, дураковатости.

Не прошло и часа времени, как гостеприимный швед вводил маркиза Ламбаля в свой дом.

Мыза фон Конова стояла на нынешней Воскресенской набережной, и окна отведенных Ивану Петровичу покоев, для тогдашнего времени весьма комфортабельных, выходили прямо на Неву, так что хозяин имел полное основание пригласить гостя полюбовать-

ся открывшимся из окон обширным речным видом.

— Вон наискось — наш артиллерийский парк, а далее — Заячий остров, Иенусари, где, кроме зайцев, ничего путного не найдете, — объяснил он, не подозревая, что следующим же летом на этом самом пустынном острове будет уже заложена русским царем в защиту от шведов новая крепость. — Зато вот еще далее — на Лосином острове, Хирвисари, лоси гуляют целыми стадами.

— Не долго гулять им! — отозвался Иван Петрович, радостно потирая руки.

— У вас и руки уже зачесались? Беда вот только с этим стариком де ла Гарди...

— А это что за субъект?

— Человек-то он, в сущности, хороший, да в последнее время, бедняга, совсем с ума спятил. Дело в том, что он, как и я, тоже в майорском чине, но лет на двадцать меня старше и за смертью старого коменданта целых два года временно управлял здешней цитаделью, ну, и рассчитывал, понятно, что его утвердят в должности. На самом видном месте Лосино-го он выстроил себе загородную виллу, завел

рыбьи тони, зверинец... И вдруг ему на шею присылают сюда из Стокгольма нового коменданта, полковника Ополева...

— Отца фрёкен Хильды?

— Да. Ну, того это разом, конечно, подкосило. Сперва он впал в бешенство, потом в меланхолию и засел себе бирюком на своей мызе. В каждом ближнем он видит личного врага, в каждом иностранце — врага отечества и русского шпиона. Только комендант наш, странным образом, ладит еще с ним. Но объясняется это тем, что де ла Гарди — солдат до мозга костей и военную дисциплину ставит выше всего. Хотя он и зачислен уже в резерв, но в полковнике Опалеве признает еще своего шефа.

— Он, действительно, кажется, большой оригинал, — сказал Иван Петрович. — Чтобы охотиться на Лосином, пожалуй, придется заручиться еще его согласием?

— Для виду — да, хотя на деле охотиться там никому не воспрещено. Во всяком случае я, господин маркиз, вменю себе в особенное удовольствие сопутствовать вам, и завтра же, если только комендант уволит меня от де-

журства, мы переправимся туда на пароме с гончими.

— А у вас есть и гончие?

— О! У меня целая псарня! — воскликнул фон Конов, весь оживляясь. — Угодно вам хоть сейчас осмотреть? До обеда у нас как раз достанет время.

— Виноват, господин майор, — вмешался тут в разговор калмык, глазевший на Неву из другого окошка, — а что же отсюда не видать города?

— Да вы, Люсьен, разве не заметили при переправе сюда, что Нева делает крутой поворот?

— Поворот? Хоть убейте — не припомню. Я все зевал по сторонам на речную панораму... А на вашей, господин майор, панораме, что досталась вам от покойного родителя, оба берега тоже выведены или один?

Простак Люсьен скорчил такую уморительно-глупую рожицу, что майор разразился опять хохотом.

— От вас, я вижу, не отвяжешься, пока не покажешь вам моей «панорамы», — сказал он. — Погодите минуточку.

— И на что тебе, братец? — вполголоса спросил Иван Петрович камердинера по уходе хозяина. — Ведь слышал ты, что план у него старый, стало быть, никуда не пригодный?

— Не бойсь, пригодится.

— Вот вам и моя панорама! — сказал, входя, фон Конов и развернул на столе генеральный план старинного Ниеншанца. — Вы, Люсьен, должны вообразить себя стоящим на высокой-превысокой колокольне, откуда видишь внизу под собою всю окрестность, как на ладони. Понимаете вы?

— Как не понять... Только где же тут что?

— А вот тут Нева, тут моя мыза, а здесь город.

— Так... Теперь-то, пожалуй, я и сам тоже найду всякую штуку. Спросите-ка меня шутки ради, господин майор?

— Проэкзаменуем, — усмехнулся майор, которого все более потешала ребяческая наивность камердинера. — Где цитадель, ну-ка?

— А тут! — провел калмык ногтем по зубчатой линии вокруг города.

— Вот и сплеховали, ха-ха-ха! Это — преж-

ние городские укрепления, от которых теперь остались только обвалившийся вал да заросший ров по пути к госпитальному саду.

— Где мы давеча с вами проходили?

— Ну, да. А цитадель вон где, на мызе. Окружают ее, видите ли, тоже вал да ров, и этот внутренний вал в полной исправности, а ров наполнен водою.

— И высокий вал?

— Да сажень в девять.

— Вот это так! А на валу, конечно, пушки?

— Еще бы: целых семь бастионов, а между бастионами высокий частокол.

— Ого! Так цитадель ваша, стало быть, совсем неприступна, — успокоенным тоном сказал Лукашка. — А город теперь разве не защищен?

— Защищен. Прежнего вала кругом хотя уже и нет, но взамен того с разных сторон возведены четыре наружных редута.

— Это что же такое?

— Редуты — полевые укрепления.

— Да тут на плане их что-то не видно.

— Попасть сюда, на старый план, они и не могли, потому что выстроены после. Один, са-

мый сильный, редут вот здесь, на противоположном берегу Невы, под Смольной, остальные три на этом берегу, примерно вот тут, тут и тут... Впрочем, что же это я заболтался с вами! Ведь нам с господином маркизом надо еще на псарню. Неужели кабриолет еще не подан?

Фон Конов быстрыми шагами вышел.

— Ну, сударь, теперь уходи-ка тоже с Богом! — заторопил Лукашка своего господина.

— Тебе-то что?

— Уходи, уходи. А не то он план свой отберет сейчас опять.

— А ты копию снять хочешь?

— Копию не копию, а смастерить по нем свой собственный планчик.

— Ну, этого я не допущу: милого майора моего я настолько заэстимовал...

— Эстимы твои при тебе и будут. Ты води свою линию, а я свою.

— Забил себе в башку — и никаким колом не вышибешь! — притворно рассердился Иван Петрович, который втайне, однако, не мог не сочувствовать патриотическому замыслу калмыка. — Я всячески омываю руце в

неповинных!

— Само собою: ни ты, ни майор за меня не ответчики.

— Не забудь только дверь-то на ключ замкнуть.

— А уж об этом, батюшка, не печалься. Мне дай только на воз сесть, а ноги то я и сам подберу.

Глава седьмая

*...Могучая рука
Спустила тетиву — и, сделав два
прыжка,
Чудовищный олень без стога повалил-
ся.
Сага о Нибелунгах*

*Эй! улю-лю, родимые:
Эй! улю-лю, ату!
Некрасов*

На старинной шведской карте конца XVII века в местности, занимаемой в наше время Петербургом и его окрестностями, показано до сорока поселений. Но поселения эти — в большинстве одинокие дворянские мызы или

убогие маленькие деревушки — терялись по всему необъятному пространству нынешней столицы и раскинувшихся кругом дачных мест среди векового, почти нетронутого еще бора и болотистых тундр.

Мыза фон Конова стояла, как уже знают читатели, на видном месте — на теперешней Воскресенской набережной. Покойный отец майора, а затем и он сам постепенно расширили свое основное имение покупкою прилегающих участков, так что ко времени нашего рассказа владения майора простирались вниз по течению Невы вплоть до нынешней пристани петербургских пароходов в конце Английской набережной. Но если разведенный около господской мызы обширный парк мало чем отличался от европейских парков, то сейчас за парком начиналась изрядная глушь и топь, сквозь которую в иных местах не только в кабриолете, но и верхом едва можно было пробраться. Поэтому на первый раз фон Конов ограничился тем, что повез гостя через весь парк на ту сторону Фонтанки, где на месте нынешнего Летнего сада помещалась, кроме «образцовой» фермы, не менее образ-

цовая псарня. Нахвалившись вдосталь своими породистыми легавыми и гончими, он повел маркиза еще в зверинец, где за особой изгородью содержалось маленькое стадо молодых лосей и диких коз, а в железных клетках — несколько хищных зверей: пара презабавных по своей неуклюжести медвежат, трое лисенят и один седой матерый волк, который, злобно косясь на двух почетных визитеров, ласкал на них зубами.

— И за что ты злобишься на меня? — добродушно говорил волку фон Конов, точно тот мог понять его, и бросил ему поданный служителем кусок сырого мяса. — Кормим, кажется, так, как на воле тебе и во сне не снилось. Правда, воля — и для вашего брата первое дело! А выпустить, милый мой, не взыщи, не могу: лучшую корову мне зарезал. Будь зима, я устроил бы для вас формальную волчью травлю, — обратился он к гостю. — На этих днях, впрочем, я, кажется, буду иметь возможность пригласить вас на медвежью облаву: одного молодого мишука мне уже выследили. Теперь же, я думаю, обед дома ждет нас.

Они сели в кабриолет и резво покатали об-

ратно на мызу. Здесь обед, точно, был уже готов, и хотя он состоял только из незамысловатых мясных и рыбных блюд, но был изготовлен из самых свежих продуктов да так вкусно, что даже избалованный французскою кухней Спафариев от души только похваливал.

— А теперь, господин маркиз, простите, я на часок отлучусь. Мне надо еще на экзерцир-плац, — объявил хозяин, когда они осушили последний бокал. — Не знаю, чем бы покамест позанять вас...

— А не найдется ли у вас парусной лодки? — спросил Иван Петрович? — Мы с Люсьеном прокатились бы вниз по Неве.

— Сделайте милость, — был ответ, — я дам вам с собой двух хороших гребцов.

— Благодарю вас, но мы и так обойдемся: мы чуть не ежедневно катаемся по Сене, дело для нас привычное.

— Но вы не знаете здешних мест: неравно сядете на мель либо заблудитесь между островами.

— Вот это-то меня и прельщает, — рассмеялся гость, — открыть новую Америку. Ты здесь, Люсьен?

— Здесь, — отозвался калмык, подходя к господам и возвращая хозяину его план. — Вы, господин майор, забыли давеча у нас на столе.

Пять минут спустя от пристани перед мызой отчалили две лодки. В одной сидел фон Конов с четырьмя гребцами, в другой — наш маркиз сам-друг с камердинером. Выбор Ивана Петровича остановился на самом легоньком, двухвесельном челноке с мачтой.

— Вы и ружье с собой берете? — крикнул еще, отъезжая, фон Конов. — Верно, на уток?

— А что подвернется. Может быть, и лося вам с Лосинога приволоку.

— Боже вас упаси! Еще на де ла Гарди нарветесь. Обещайтесь мне не сходить на берег...

Заботливый хозяин кричал еще что-то, но его нельзя было уже расслышать, потому что четыре гребца дружно взялись за весла, и лодка майора живо двинулась против течения, рассыпая кругом шипящие брызги, а челночок маркиза, под не менее ловкими ударами весел Люсьена, стрелой понесся вниз по течению на середину реки.

— Ну, что, конспиратор? — спросил Иван Петрович. Калмык понял его и с самодовольством похлопал рукою по левой стороне груди.

— Спроворил в лучшем виде! Ужо вот только на месте еще проверить.

— Покажи-ка сюда.

Лукашка достал из бокового кармана изготовленный им новый план и издали показал барину.

— Да дай же в руки!

— Прости, сударь, но я с ним уже не расстанусь, храню у самого сердца.

И, бережно сложив опять вчетверо лист, он спрятал его обратно в карман.

— Что ты, не веришь мне, что ли!

— Отчего бы и не поверить? — лукаво усмехнулся в ответ Лукашка. — Попуститель ведь, почитай, такой же конспиратор, как и совершитель.

— Так-то ты! — вскричал господин, блеснув глазами. — Давай же сюда! Слышишь? Сейчас на кусочки изорву.

— То-то вот. Не погневись, сударь, что с во-за упало, то пропало. А для меня нет теперь

ничего дороже этого планчика на белом свете.

Тем временем челнок их миновал уже Заячий остров и поравнялся с Васильевским — Лосиным. На так называемой «биржевой стрелке», где теперь меж двух рогатых маяков гордо высится каменная громада биржи с роскошной лестницей и колоннадой, в начале XVIII века из глубины березовой чащи выступали одни лишь деревянные бараки устроенной здесь майором де ла Гарди тони. Единственной искусственной декорацией служили ей развешанные по берегу сети, а оживляющим ландшафт элементом являлись несколько чухонцев-плотников, мастеровивших ладью весьма почтенных размеров. Среди них выделялся сгорбленный, но плечистый старик в поношенном офицерском кафтане, с непокрытой головою. Хотя в шведском войске в ту пору допускались одни усы, а иные, по примеру короля, не носили и усов, у старика-офицера белая как лунь борода была запущена и всклокочена, точно так же, как и длинные пряди серебристых волос вокруг оголенного черепа. Опираясь на толстую шпан-

скую трость, он сердито покрикивал на рабочих.

— Вон и сам де ла Гарди, — сказал Иван Петрович. — Но где же его вилла?

— А, знать, в этой просеке, что видна сейчас за последним сараем, — указал Лукашка.

— *Wie geht es alter Herr? Habe die Ehre!* (Как поживаете, почтеннейший? Имею честь!) — окликнул старика-офицера Спафариев. Когда же тот удивленно оглянулся, то замахал ему с изысканной галантностью шляпой.

Зараженный школьнической выходкой барина, калмык не замедлил загорланить молодым петухом. Справедливо возмущенный, де ла Гарди гневно погрозил шутникам тростью. Но быстрым течением челнок их отнесло уже за угол стрелки, и тоня с ее владельцем скрылась из виду.

— Ближе к берегу, ближе, да не торопись! — говорил Спафариев, пристально вглядываясь в скользившую мимо них лесную гущину.

Гущина эта, в самом деле, должна была давать надежное убежище и раздолье крупнейшей дичи севера, от которой самый остров

получил свое название и ни одного живого представителя которой герой наш, считавший себя первоклассным охотником, к стыду своему, никогда еще не видел.

— Чу! Никак колокольчик? — заметил Лукашка, но господин молчаливым жестом показал ему — ради Бога, молчать.

Где в настоящее время боковым своим фасадом выступает на набережную Большой Невы необъятное здание университета, куда со всех концов столицы, мелькая голубыми околышами, стекается жаждущая света науки молодежь, — там виднелась тогда только лесная прогалина, по которой вилась протоптанная лосями тропа к обычному их водопою. И там-то вот, из глубины прогалины, показалось теперь небольшое, голов в пять шесть, стадо лосей, предшествуемое вожакom — могучим старым лосем.

При виде челнока с людьми вожак-лось на миг остолбенел; в следующий миг он горделиво закинул свою громадную ветвистую рыху на спину и повернул обратно в лес.

Но охотничья жилка неудержимо уже забила в груди молодого охотника. Схватив

лежавшее рядом на скамье заряженное ружье, он спустил курок, ни секунды не целясь. Одновременно с треском выстрела в челноке старый лось на берегу сделал предсмертный прыжок и грохнулся наземь, между тем как подначальное ему стадо в смертельном переполохе шарахнулось назад в чащу.

— Ура! — возликовал счастливый стрелок, кладя в сторону дымящееся еще ружье. — Причаливай!

— Да майор фон Конов взял с тебя слово, сударь, не сходить на берег, — возразил Лукашка.

— Хотел взять, точно, но я ему, к счастью, ничего не обещал.

— Такого чудища, поди, и с места не сдвинуть, да и лодчонку нашу, пожалуй, потопим.

— А на что нам его туша. Рога бы только на память забрать. Причаливай, говорят тебе!

Челнок еще не ударился о берег, как Иван Петрович был уже там. Лось лежал на правом боку с закинутой назад головой. Ноги его судорожно еще трепетали; закатившиеся белки глаз просвечивали сквозь полуоткрытые, желтоватые ресницы; длинный язык висел из

угла рта, покрытый слюной и пеной, а из левого бока била ключом темно-алая струйка крови, орошая кругом примятую траву. Пуля попала в самое сердце, и бедное животное недолго, по крайней мере, промучилось.

«Что за колосс! — восхищался про себя Иван Петрович, никак не воображавший, чтобы лоси, которых он знал до тех пор только по иллюстрациям, могли достигать таких размеров. — Но эти рога! Чуть не о ста концах и какого калибра...»

— Ah, sacrebleu! — разочарованно вырвалось у него вслух.

И было отчего: на шее у лося оказался подвязанный на ремешке серебряный колокольчик; стало быть, экземпляр был отмеченный, — пожалуй, даже прирученный...

«Ну, да все одно! Не оставлять же тут...» — решил Иван Петрович и, выхватив из-под камзола скрытый кинжал, принялся опытной охотничьей рукой отбивать с головы животного великолепную рассоху.

— Берегись, барин, шалый майор бежит! — донесся к нему из челнока окрик Лукашки.

Барин поднял глаза: действительно, по

опушке бежал к нему де ла Гарди. Спотыкаясь о древесные корни, старик на бегу надтреснутым, но угрожающим голосом кричал ему что-то.

Терять времени было нечего. Иван Петрович с удвоенным усердием продолжал работать кинжалом, хотя его уже пот прошиб.

И усердие его увенчалось успехом: тяжеловесные, пуда в полтора, рога отделились от черепа животного, отделились как раз вовремя, потому что майор добежал уже до браконьера и замахнулся на него своей здоровенной шпанской тростью.

Отпарировать удар Спафариев мог только лосиной рассохой, и хотя от этого ответного удара майорская трость отлетела далеко в сторону, но зато самому майору удалось ухватиться тут же руками за один из рогов. Молодому человеку не стоило бы, пожалуй, большого труда одолеть слабосильного старца. Но тот так судорожно-цепко держался за рог, что стряхнуть его не было возможности, не сбив его вместе с тем с ног. Жалея старика, Иван Петрович прибегнул к более деликатному средству: он стал вывертывать рассоху из рук

противника.

— Живей кончай, сударь, к нему сикурс идет! — предупредил опять Лукашка.

И то: в нескольких шагах от себя Иван Петрович увидел двух мужиков чухонцев, спешивших на «сикурс» к своему господину. Но де ла Гарди, совсем обессилив, и сам уже по неволе выпустил из рук спорную добычу. Подхватив ее, Спафариев, как на крыльях, полетел обратно к челноку, прыгнул в него и оттолкнулся от берега.

Все описанное произошло, разумеется, гораздо быстрее, чем могло быть рассказано нами.

— Он тебе этого не спустит, — говорил Лукашка, оглядываясь назад, где де ла Гарди стоял еще среди своих людей, на том же месте, яростно потрясая уплывающим вслед кулаками.

— То впереди, а покуда все-таки наша взяла! — весело отозвался Иван Петрович, к которому вернулось опять все его природное легкомыслие. — Ты полюбуйся-ка только этими рожками: точно с какого-то допотопного зверя!.. Уф! словно в бане побывал... — приба-

вил он, проводя рукою по разгоряченному лицу.

— Ты, сударь, чем лицо-то размалевывать, сперва бы руки себе пополоскал.

Теперь только, взглянув на свои ладони, Иван Петрович заметил, что обе в крови. Наклонясь через борт к воде, он обмыл руки, а потом и лицо.

— Но ты-то, братец, тоже хорош, — говорил он. — Во-первых, даешь барину своему в одиночку отдуваться...

— Да как же лодку-то одну оставить было: рекой сейчас бы унесло.

— Во-вторых, ты кричал мне ведь по-русски...

— Типун мне на язык! — спохватился тут камердинер. — Ну, да старик, может, и не разобрал. Благо хоть погони-то нет... Э-э! Да вон мужичье назад уже ударилось во все лопатки. Верно, за лодкой.

— Но сам майор стоит все там же.

— А умаялся, знать, не в меру, обжидает, поколе сбегает. Забодай их бык!

В самом деле, наши молодые искатели приключений не отъехали еще особенно да-

леко, как из-за биржевой стрелки в Большую Неву к ним выплыл шестивесельный баркас.

— Ну, Лукаш, — сказал Иван Петрович, — отодвинься-ка и дай мне одно весло: купно поналяжем.

Они «поналегли купно», и челнок полетел вниз по реке стрелою. Баркас на минутку только пристал к тому месту, где ждал старик-майор, чтобы принять последнего. Затем началась уже форменная гонка.

Хотя челнок двух русских был из самых легких и оба они заявили себя отменными гребцами, но на баркасе работало шестеро не менее привычных гребцов, и расстояние между тем и другим понемногу сокращалось.

— Сейчас будем на взморье, — сказал Иван Петрович, оглянувшись через плечо, — а дальше куда же? Как ни вертись — сцапают.

— Одно средство — зарыться в камыши, — отвечал Лукашка, кивая на обросшие Галерный остров густые камыши. — Наша ореховая скорлупка кое-как еще продерется, а они застрянут.

Маневр действительно удался. Маленький остроносый челнок без затруднений сколь-

зил сквозь камышовую чащу, скрывавшую его притом от взоров преследователей. Те сгоряча ворвались туда же, но три весла с каждого борта, опутываемые при всяком взмахе осокой и камышами, поневоле вышли из такта и мешали друг другу; баркас закачало с борта на бок и почти совсем затормозило.

Беглецам в их убежище этого не было видно, но догадаться о том было нетрудно по доносившимся к ним досадливым возгласам майора, напоминавшим скорее рыкание старого льва, чем членораздельные звуки человеческой речи.

— Изволишь слышать, как кипит старичина? — шепотом обратился калмык к своему господину. — Здорово, стало, застопорились. Теперь можно и на волю.

Выбрались они из камышей в открытую воду уже при устье Кеме-Фонтанки.

— Назад на Неву мимо них нам путь отрезан, — заметил Лукашка, — но вот тут никак тот самый проток, про который мне сказывал Мартин Брюгге. Ты, сударь, покуда, знай, греби, а я живой рукой поставлю парус: благо, ветер посвежел и дует с моря.

Сказано — сделано. Едва только парус распустился на мачте, как свежим ветром его разом надуло и челнок, накрываясь на бок, быстро понесся вверх по течению в Фонтанку. Как раз вовремя — потому что майорский баркас уже выплыл из камышей.

Погоня возобновилась. Де ла Гарди, без шляпы, с развевающимися по ветру волосами, просто надрывался, осипшим голосом подбодряя своих гребцов, стуча по борту тростью, топая ногами. Но Фонтанка не была тогда еще очищена от многочисленных мелей и водяных трав; глубоко сидевший в воде баркас должен был лавировать между этими препятствиями с некоторою опаской, тогда как челнок-скорлупка на парусе своем, как чайка с распущенными крыльями, смело и неуклонно несся все вперед да вперед, разрезая острой грудью пенящиеся волны. Тем не менее, хоть и незаметно, но постепенно расстояние между теми и другими уменьшилось уже на половину — до ста шагов. А тут с уклонением реки около нынешней Большой Итальянской на северо-запад, покрывавший берега ее лес настолько стал задерживать силу

морского ветра, что парус наших беглецов вдруг затрепыхался, повис на мачте, и им пришлось снова пустить в ход весла.

— Смотри, ведь нагоняют, ей-Богу, нагоняют, — пыхтел Иван Петрович, с которого от усиленной работы пот струился уже градом.

— Да, их шесть человек, — отвечал Лукашка. — Но дай нам только до Невы добраться: там парус наш опять за шестерых постоит.

Однако еще до Невы им предстояло новое испытание. На границе владений фон Конова (около нынешнего Инженерного замка), на правом берегу реки стояла рыбацья хижина. Хозяин ее, должно быть, отсутствовал; хозяйка, подоткнув сарафан, полоскала у берега белье, а сынишка ее, мальчуган лет девяти, с привязанного тут же дощаника удил самодельной удочкой рыбу. Фарватер здесь был особенно тесен, потому что всю средину реки, почти вплоть до левого берега, захватила песчаная, заросшая камышом отмель. Едва только челнок наших русских достиг отмели, как со следовавшего сзади баркаса раздался повелительный окрик де ла Гарди. Кричал он по-фински и, несомненно, рыбачке, потому что

та поспешила исполнить приказание грозного старика-офицера и отвязала дощаник. Сынок же ее, бросив удочку, схватил единственное весло и направил свое суденышко поперек фарватера...

— Чтоб ты мухи съели, постреленок! — выругался Лукашка. — Назад, барин!

— Куда назад?

— Да одно средство — проскочить тем берегом. Когда они огибали отмель, баркас был от них не далее восьми шагов. Но они как раз еще проскользнули мимо и въехали в проток между отмелью и левым берегом реки. Проток, к счастью их, был настолько узок и мелководен, что и обыкновенной двухвесельной лодке едва ли можно было пробраться этим путем. Но легонький челнок, точно приспособленный для таких оказий, живо проскочил-таки из-за отмели в полую воду.

— Наша взяла! — заликовал Лукашка. — А они-то, они — ха-ха-ха! — сами, поди, в свою ловушку попали.

И точно: длинный, неуклюжий дощаник, с которым мальчуган не умел еще управлять, положительно заградил фарватер и не

пропускал баркас. Де ла Гарди вне себя бесновался, бранился по-шведски и по-фински, но в конце концов вынужден был отрядить двух из своих гребцов на дощаник, чтобы убрать его к берегу. Тем временем перед преследуемыми раскрылась опять синяя ширь Невы, и морской ветер подхватил их парус с новой силой.

— Ну, теперь мы все равно что дома! — вздохнул из глубины груди Иван Петрович, и действительно, несколько минут спустя, они были уже у небольшой пристани перед фон Коновою мызой. Вслед затем причалил туда и майорский баркас, но беглецы, предоставив дежурному матросу на пристани убрать с челнока их парус, спаслись уже в дом, захватив с собой, разумеется, и свой охотничий трофей. Бирюк де ла Гарди не решился последовать туда за ними. Некоторое время только под окнами слышалось еще его невнятное брюзжание: бедный старик до того надсадился, что совсем с голоса спал. Первая забота Ивана Петровича была — с помощью воды и мыла уничтожить на своей персоне последние следы пролитой им крови. Когда он затем

из-за оконной занавески выглянул вниз на пристань, баркас смертельного врага его уже отчалил и направлялся обратно к Лосиному.

Фон Конов возвратился со службы только к вечеру и выслушал юмористическое повествование гостя о его приключениях необычайно серьезно.

— А знаете ли, мой милый маркиз, — сказал он, — чем это пахнет?

— Ну?

— Немедленной высылкой вашей из пределов Швеции или тюремным заключением до полного разъяснения дела.

— Вы шутите? Разве де ла Гарди этот у вас уже такая сила?

— Официально — нет, но на деле — да. И мы-то, свои люди, остерегаемся раздражить этого бедового и... больного человека, а вы, оказывается, убили его заповедного лося. Ведь он собственноручно навесил ему серебряный колокольчик, чтобы никто уже не смел его пальцем тронуть.

— И меня, признаться, колокольчик это сперва несколько озадачил. Но дело было уже сделано... Вы взгляните только, что за рос-

кошъ! — оправдывался Иван Петрович, указывая на лежавшие перед ними на столе небывалой величины рога лося, которые Лукашка, по приказанию своего господина, хорошенько очистил ножом и мылом и высушил на плите в кухне.

— Рога роскошные, что говорить, — согласился фон Конов, — но тем грустнее, что вам придется распроститься с ними.

— Как! Вы хотите, чтобы я возвратил их?

— Это первое и неизбежное условие примирения с безумным стариком. А примириться с ним, я говорю вам, необходимо, потому что он, наверное, уже подозревает в вас тайного русского... агента и не даст коменданту нашему, полковнику Опалеву, покоя, пока не сживет вас отсюда. Положение же у нас нынче, сами знаете, строгое, военное...

Спафариев очень естественно расхохотался.

— Вот не думал не гадал! Я, маркиз Ламбаль — русский, да еще тайный агент, то есть попросту говоря — шпион! Благодарю! Вы же с вашим комендантом, надеюсь, не думаете этого?

— Понятно, нет, но всячески, знаете, будет бесполезно, если вы первые предупредите коменданта. Нынче уже поздно; но завтра советую вам спозаранку отправиться к нему с визитом и рассказать откровенно все, как было. Если кто уладит дело, то никто как он.

Глава восьмая

Арина Пантелеймоновна.

*А позвольте узнать, по какой причине?
Анучкин.*

*По соседству-с. Находясь довольно в
близком соседстве...
Агафья Тихоновна.*

*Мне стыдно, право, стыдно; я уйду,
право, уйду. Тетушка, посидите за ме-
ня.
Гоголь*

На следующее утро Иван Петрович, действительно, встал спозаранку, то есть часом ранее обыкновенного; но многосложный туалет его потребовал столько времени, что, когда он вышел в столовую, хозяина уже и

след простыл. Прислуживавший гостю за утренней закуской слуга, знавший немного по-немецки, доложил ему, что господин майор изволил отбыть на утреннее учение и вернется только к обеду, но что ему, слуге, поручено проводить господина маркиза в цитадель к господину коменданту.

Прибыв к цитадели, они от стоявшего на часах у подъемного моста солдата-шведа узнали, что господин полковник также на учении в артиллерийском парке, но вскоре должен вернуться.

— Так я обожду, — сказал Иван Петрович и вместе с провожатым вошел в крепостные ворота.

Герой наш, как знают уже читатели, при всей верноподданности своей престолу и отечеству, ни мало не задавался целью своего личарды — «вышпионить» шведов; а теперь к тому же мысли его были еще заняты предстоявшим щекотливым объяснением с комендантом. Поэтому, не устаивая никакого внимания крепостные сооружения, он с подъемного моста направился прямо к главному входу цитадели и поднялся за проводником

во второй этаж, где помещалась квартира коменданта.

Толмач-слуга пригодился ему и тут при объяснении с финкой служанкой, впустившей их в прихожую.

— А фрёкен Хильда дома? — спросил Иван Петрович.

— Обе фрёкен дома.

— Обе?

— Да-с: фрёкен Хульда и фрёкен Хильда.

— Вот как, их две? Доложите же, что им желал бы засвидетельствовать свое почтение французский маркиз Ламбаль.

Маркизу, однако, пришлось раза три повторить свое мудреное звание и свою не менее мудреную фамилию, пока те не поддались непослушному языку финки. Недолго погодя посланная вернулась в прихожую и, низко приседая, распахнула перед гостем дверь в горницу:

— Tulka sissa. (Войдите).

Здесь его заставили прождать значительно долее (обе фрёкен, как можно было догадаться, сочли нужным принарядиться для редкостного гостя), и он имел полное время

оглядеться. Если то была парадная гостиная, то она никак не имела ничего общего с теми великосветскими салонами, в которых он еще так недавно проводил целые вечера или, вернее сказать, ночи у своих парижских знакомых. Там высокие, часто в два света, помещения, обитые драгоценными гобеленами, были уставлены пышной, шелковой мебелью в изящном стиле ренессанс, начинавшем переходить в вычурно-причудливый рококо. Гостиная ниеншанцского коменданта, при всей своей просторности, была несоразмерно низка и казалась еще ниже потому, что по потолку из конца в конец были проложены толстые полированные балки. Стены кругом были выложены полированными же, симметрично расположенными дощечками; причем и балки, и стены были изукрашены довольно искусно вырезанными изображениями из священного писания и благочестивыми изречениями. Рука времени, а может быть, и рука художника наложила на все однообразный темный колорит, придававший горнице несколько мрачный, но замечательно уютный вид. Уютности этой способствовала и вся

обстановка: громадная, но не лишенная своего рода монументальной красоты муравленая печь из глазированных изразцов; массивные диван и кресла с могучими, крутыми спинками и ручками; палисандрового дерева клавишин; особенно же окна: последние были увешаны прозрачными кисейными занавесками и уставлены горшками гортензий, гиацинтов, тюльпанов и махровых роз; по бокам окон вился плющ, цепкие ветки которого, сплетаясь вверху, густой зеленью своей даже затемнили верхние стекла. Среди этой зелени в одном окне качалась в деревянной клетке канарейка, в другом — кардинал, в третьем — горихвостка. Перед средним окном на небольшом возвышении стояли друг против друга, со столиком посредине, два потертых кожаных кресла, а на столике лежал большой фолиант в толстом деревянном переплете, обтянутом свиною кожей, с медными застежками. Вытисненный на переплете золотой крест показывал, что это — священное писание. Тут же, на книге, оказались большущие очки, как бы сейчас только снятые с носа, а рядом с ними — недовязанный, очень внушительных

размеров чулок с вязальными спицами.

«Однако ножка, для которой предназначен сей чулок! — усмехнулся про себя Иван Петрович. — И очки уже надевает бедная вязальщица... Но те же пальцы, видно, умеют и по клавишам бегать...»

Он подошел к клавесину, поднял крышку и взял несколько аккордов. В это время на пороге из внутренних покоев показались обе хозяйки.

«Да, фамильное сходство между обеими поразительное, но фрёкен Хульда по меньшей мере вдвое старше, и ее богатырское сложение, гренадерская осанка, энергические крупные черты лица, густые белокурые булки и здоровый сизый румянец во всю щеку наглядно показывают, какою станет со временем и младшая, фрёкен Хильда. По возрасту они едва ли родные сестры, но по сходству могли бы быть. Значит, на всякий случай так и будем разуметь их».

Все это мгновенно промелькнуло в голове Ивана Петровича, и он с галантным поклоном сделал два шага к вошедшим и отрекомендовался. Те обе одновременно ответили

ему совершенно таким же патриархально-чинным книксеном, как давеча горничная-финка, так что нашему маркизу стоило некоторого усилия над собою, чтобы сохранить серьезный вид.

— Нам очень жаль... Папы нет дома... Не хотите ли присесть? — застенчиво пролепетала младшая довольно бегло по-французски, снова приседая и зардевшись вдруг до ушей: она, видно, узнала теперь вчерашнего спутника фон Конова.

Поблагодарив, Иван Петрович выждал, пока обе усядутся на диван, и опустился затем в предложенное ему кресло, которое, должно быть, так же для прочности, было набито, как показалось ему, мелким булыжником. Но это опять-таки совершенно отвечало всей окружающей солидной, вековой обстановке.

— Давно я не чувствовал себя так хорошо, как здесь у вас, — обратился он к фрёкен Хульде, как к старшей. — Я, надо знать вам, вечный скиталец на море житейском, слоняюсь из края в край, а тут точно попал опять к себе в отчий дом: все кажется мне таким милым, родным, знакомым, будто я бывал тут

уже сотни раз. И обеих вас, мадемуазели, я будто давным-давно знаю: вы дополняете только собою эту славную, родственную обстановку...

Фрёкен Хульда вопросительно, как бы ища поддержки, обернулась к младшей барышне.

— Тетушка моя не говорит по-французски, — объяснила последняя.

— Ваша тетушка? — воскликнул Иван Петрович. — Не может быть! Мадемуазель, верно, ваша старшая сестрица?

Эти слова тетушка, казалось, поняла, потому что в свою очередь теперь слегка покраснела, но ошибка молодого человека, по-видимому, ничуть не была ей неприятна, потому что она с особенно приветливою миной на ломаном немецком языке спросила: не говорит ли он, может быть, по-немецки?

— С грехом пополам объясняюсь, — отвечал он. — Но мне все как-то не верится, чтобы вы не были родные сестры!

— Да, мы с племянницей очень схожи, — степенно отозвалась фрёкен Хульда. — Но я ровно на тридцать лет ее старше: ей — четырнадцать, мне — сорок четыре.

Спафариев не шутя уже был удивлен.

— Простите, мадемуазель, если я вам не поверю... Она снисходительно усмехнулась:

— Мы, северянки, действительно, сохраняемся довольно долго, мы ведь потомки древних викингов норманских. А скажите, пожалуйста, мне очень важно знать: хорошо ли говорит Хильда по-французски?

— Восхитительно.

— Стало быть, недаром каждое слово ее обошлось мне в две кроны!

— Вам?

— Да, она крестница моя, и я приняла на себя все издержки по ее воспитанию.

— А вы, мадемуазель, воспитывались здесь, в Ни-еншанце? — обратился он к племяннице.

Вместо маленькой дикарки, однако, отвечала опять тетушка.

— Нет, в Стокгольме. Отец ее с переводом сюда комендантом так стосковался по девочке, что я должна была поскорее привезти ее к нему, хотя она не окончила еще последнего класса. Это было тем более жаль, что она в своем классе была всегда первой.

— А я в своем, увы! — всегда двадцать первым!

— Сколько же вас всех было в классе?

— Двадцать один человек.

Черты фрёкен Хульды подернулись облаком: ей, видимо, было грустно разочароваться в таком милом молодом человеке, и, в утешение себе, она достала из кармана небольшую черепаховую табакерку и угостила себя щепоткой табаку.

«Ах, ах! — вздохнул про себя Спафариев. — Так-то однажды и племянница будет утешаться в горести и печали!»

— Вы, стало быть, были последним в классе? — спросила фрёкен Хульда.

— Выходит, так, но моя ли вина, согласитесь, что нас было не более двадцати одного? Зато я благодетельствовал других, уступал им лучшие места.

— Вы, господин маркиз, кажется, довольно беззаботны, но сердце у вас доброе.

— Доброе ли — не берусь судить, но пречувствительное, и при виде чужой беды, чужого горя слезы у меня всегда наготове. Когда я, например, в Индии охотился на львов и

тигров, то, зная свою слабость, всякий раз, бывало, нарочно запасаюсь несколькими носовыми платками.

Во время диалога своего с тетушкой Иван Петрович раз только, и то безуспешно, обратился к безмолвствовавшей племяннице. Она сидела как на иголках и, нечаянно встретясь глазами с молодым гостем, быстро потуплялась. Когда же он теперь, чтобы рассмешить ее, упомянул о своей удивительной чувствительности, она не могла уже удержаться и фыркнула, но тотчас еще пуще устыдилась и прикрыла рот платком.

Фрёкен Хульда укорительно покачала ей головой, а затем с достоинством обратилась к гостю:

— Так вы были в Индии? А почему там, не можете ли сказать мне, индюшки?

Теперь и Иван Петрович вынужден был закусить губу...

— Почему индюшки? Виноват, не справлялся, но почему слоны...

— А там кушают и слонов?

— Самых их на стол не подают — немножко грузны, — но хоботы их у туземцев одно из

самых лакомых блюд.

— И вы тоже ели их?

— Как же не отведать? И могу уверить вас, что весьма недурно.

— Но из-за хобота убивать целое животное...

— Я думаю, и из-за клыков? — решила в первый раз подать голос фрёкен Хильда.

— Совершенно верно, — подтвердил с поклоном Иван Петрович, — а хоботы уже кста-ти: зачем им пропадать? Если мне было жаль убивать слонов, так более потому, что они так умны — умнее иного человека. Только под старость тоже теряют память. У меня, например, был старый слон, так тот, чтобы чего не забыть, завязывал себе всякий раз хобот узлом.

Теперь и у тетушки не могло быть сомнения, что язык у гостя без костей, и она, невольно также улыбнувшись, заметила, что «господин маркиз, кажется, как все французы, большой фантазер и охотник до сказок».

— Да, — отвечал он, — сказки — слабость моя с раннего детства. Но тогда я особенно любил такие, где встречалось побольше пря-

ников и орехов, а в настоящее время меня гораздо более интересует какая-нибудь пулярка с фаршем, да и не в сказке, а на столе передо мною.

— Ах, Боже мой! — спохватилась тут фрёкен Хульда. — А мы-то вам до сих пор еще ничего не предложили! Для обеда еще рано, но вы позволите хоть чашечку кофе?

— Тетенька, я пойду, заварю... — вмешалась фрёкен Хильда и вспорхнула с дивана.

— Сиди, сиди! — остановила ее тетушка. — Я сама распоряжусь.

— Но зачем же, тетенька... Позвольте уж мне...

— Ты не знаешь, милочка, где что взять, — решительно заявила фрёкен Хульда, которой, по-видимому, хотелось угостить молодого ценителя вкусных вещей чем-то особенным собственного изделия. — Сиди и займи покуда господина маркиза.

Молодые люди остались вдвоем.

Глава девятая

*Детство веселое, детские грезы!
Только вас вспомнишь, — улыбка и слезы.*

Никитин

*Каких ни вымышляй пружин,
Чтоб мужу бую умудриться, —
Не можно век носить личин,
И истина должна открыться.
Державин*

— **В**аша тетушка, видно, ведет все хозяйство в доме, — заговорил опять по-французски Иван Петрович, — а вы, мадемуазель, занимаетесь больше рукодельем? Но если зрение у вас так слабо, то вам следовало бы поберечь его.

Фрёкен Хильда своими большими голубыми, пугливо доверчивыми, как у теленочка, глазками, недоумевая, уставилась на говорящего.

— Я не страдаю глазами, — возразила она.

— А зачем же вы употребляете очки?

И он указал на большие круглые очки, ле-

жавшие на столике перед средним окошком, рядом с недовязанным колоссальным чулком.

— Ах, это тетины!..

— Но чулочек она вяжет для вас?

Девочка, казалось, не знала: счесть ли это опять за простую шутку или за насмешку?

— Нет, для себя, — отвечала она, серьезно сдвинув бровки. — Вы, французы, кажется, очень любите издеваться над другими...

— С чего вы взяли, мадемуазель?

— Да вот хоть давеча вы уверяли тетушку, будто я хорошо говорю по-французски...

— А разве это неправда?

— Я очень хорошо знаю, что у меня есть шведский акцент и что я делаю ошибки. Три года назад я едва знала сказать «bonjour» и «pardon».

При этих словах по простодушному личику девочки проскользнула шаловливая улыбка.

— Вы, верно, вспомнили что-нибудь забавное? — догадался Иван Петрович.

— Да...

— Что же именно? Нельзя мне разве

узнать?

— Можно бы... Но вы станете опять смеяться.

— Что же в этом дурного? Вместе посмеемся. Смех и для пищеварения, говорят, очень полезен. Спросите хоть вашу тетюшку.

Фрёкен Хильда еще колебалась.

— Ну пожалуйста! — попросил он так умильно, чистосердечно, что девочка сдалась.

— Видите ли... — начала она, — мы с кузиной моей были в одном классе и как только выучились первым французским вокабулам, то страшно заважничали. Идем, бывало, по улице и нарочно задеваем локтем прохожих, чтобы иметь случай сказать «pardon, monsieur!», «pardon, madame!» А в праздники, гуляя вместе по эспланаде, болтаем меж собой по-французски, то есть морочим гуляющих, будто бы говорим, на самом же деле повторяем без толку, как попугаи, одни и те же заученные вокабулы.

И рассказчица и слушатель разом залились задушевым смехом, но первая, застыдившись своей чрезмерной веселости, прижала опять к губам платок.

— Прелестно! — сказал Иван Петрович. — У меня с моими братьями был также свой особый язык: каждый слог мы повторяли дважды, второй раз приставляя к нему только букву ф, например: «у-фу на-фас бы-фыл своей я-фя-зы-фык».

— А мы с кузиной придумали особую азбуку, — подхватила фрёкен Хильда. — Ставили одни буквы вместо других и переписывались таким образом и в классе, и дома, чтобы другие нас не понимали. Приходили к нам в дом по воскресеньям из корпуса ее старший брат, кадет, ужасный задира. Так мы с нею нарочно пишем друг другу при нем записочки, например: «Какой несносный мальчишка!» Он перехватит у нас записку, чтобы прочесть, и рот разинет: ничего-то не понять! Умора просто!

— Что же, он разве мешал вам в ваших играх?

— И как! Мы так хорошо, например, играли с сестрой его в феи, в гномы, в богини, летали на коврах-самолетах... А он вымажется сажей и с гробовым криком «го-го-го!» выскачит вдруг на нас из-за угла...

— И феи ужаснутся деланного черта?

— Да как же не ужаснуться? Потом, разумеется, узнав его, мы прогоняли его вон.

— Вот то-то и есть. А ему, бедняге, было досадно, что вы, девочки, не принимаете его в вашу игру.

— Вовсе нет. Мы пробовали было играть с ним, но разве с таким сорванцом можно было? Раз сестре его подарили куклу, и надо было ее окрестить. Я была крестной матерью, а кузен должен был быть пастором. Все было приготовлено как нельзя лучше: посредине комнаты был поставлен столик, накрытый чистой салфеточкой, на нем две восковые свечи, а между свечами серебряный тазик с водой. Запеленав мою малютку в новенькое одеяльце, я сперва ее убаюкала, потом понесла крестить. Кузен в черном таларе, как следует, действительно, начал густым басом свою проповедь. Но когда дело дошло до крещения, он вместо того, чтобы омочить моей крестнице только темя, хватить ее у меня из рук и окунул в таз с головою.

— Ах, Боже мой! — с притворным участием испугался Спафариев. — Ведь она могла за-

хлебнуться! Вы, конечно, отняли ее у него?

— Хотела отнять, но он не давал мне и стал кружить ее за ногу по воздуху. «Ничего, — говорит, — откачаем».

— Вот разбойник! Да ведь у нее голова могла закружиться!

— Вам-то смешно, а мне-то каково было? Вы, мальчики, все ужасные забияки.

— Да, куклы не по нашей части. Мы с братьями чаще всего играли в охоту: один был медведем, другой — охотником, третий — его сыном. Медведь тащил мальчика в берлогу, а отец убивал медведя и спасал сына. А то еще мы отправлялись в Австралию: один был европейцем, другие дикими. Дикие, поймав европейца, отрезали ему линейкой голову, руки, ноги и, изжарив на костре, то есть на столе, съедали на здоровье.

— Отчего это мальчики любят всегда такие страсти? Им все бы только обижать других...

— Оттого, мадемуазель, что жизнь мужчины — вечная борьба. Вот мы с детства и упражняем свои силы. Как сейчас помню такой случай: идя в школу, я должен был миновать городскую площадь. Так как классы в

разных школах начинались в одно время, то аккуратно каждое утро на этой площади мне пересекал дорогу один и тот же ученик другой школы. Ну, а разные школы, известно, — враждебные лагеря. И вот в один прекрасный день чаша наша перекипела, мы прошли с ним так близко один мимо другого, что не могли не толкнуть друг друга. «Дурак!» — крикнул один. «Болван!» — отозвался другой. И пошла потеха, мальчишечий турнир. Бросив наземь наши ранцы, мы принялись без милосердия тузить друг друга, пока вконец не запыхались и не вспомнили оба, что пора и в класс. Тогда мы подобрали с земли ранцы — и разошлись.

— И только-то?

— Не совсем. Едва я отошел на несколько шагов, как слышу за собой сердитый голос: «Отдай мне мой ранец!» Что такое? Гляжу: и то ведь, второпях я схватил ранец врага, а он — мой. Обменявшись ими, не глядя друг на друга, мы пошли опять каждый своей дорогой.

— Совсем как молодые петухи!

— Похоже на то. Но наша петушиная исто-

рия окончилась все-таки по-человечески, по-христиански.

— Как же так?

— А так, что на другой день, встретясь опять на площади, мы исподлобья как-то невольно улыбнулись друг другу, на третий — разговорились, а на четвертый — по-дружились. Прежний заклятый враг мой вскоре нарочно перешел в мою школу, чтобы только быть чаще со мною.

Болтовня молодых людей на этом месте была прервана появлением почтенной тетушки и сопровождавшей ее горничной с подносом в руках. Поднос был массивный, серебряный и на нем красовался целый кофейный арсенал из массивного же серебра: кофейник, сливочник, сахарница и сухарница с домашними сухарями; чашечки же были из тончайшего фарфора с китайским рисунком, точно так же, как и две вазочки с вареньем и тарелочки к ним.

— Я послала вестового в городскую булочную за свежим печеньем, но его до сих пор нет как нет. Не знаю, что с ним такое! — с сокрушением извинилась фрёкен Хульда и

предложила гостю покамест «погутировать» северного их варенья: морошки или мамуры.

На сделанный ей Иваном Петровичем комплимент по поводу необычайной ароматности мамуры, домовитая хозяйка объяснила, что ягода эта — самая северная, даже на Неве не произрастает и нарочно выписана для них богатейшим местным коммерсантом... лучшим другом дома.

— А этот фарфор, — с гордостью указала она на вазочки, тарелочки и чашечки, — прислан нам прямо из Китая... благодаря любезности все того же друга дома, — прибавила она с таким знаменательным взглядом на племянницу, что та смутилась и нахмурилась.

«Опять этот необъявленный жених, коммерции советник!» — догадался Иван Петрович, и, точно в сладкое варенье к нему попала капля дегтя, он с неодолимым уже отвращением отставил свою тарелочку.

— Что же вы не докушали? — спросила фрёкен Хульда.

— Слишком, знаете, душисто...

— Так я вам сейчас налью кофею.

— А вот и вестовой! — воскликнула фрёкен Хильда и сорвалась с места.

Просунувший голову в дверь вестовой подал ей туго набитый бумажный мешок и, чтобы не получить головомойки от старшей фрёкен, так же живо юркнул вон. Девочка между тем высыпала булочное печенье на поднос, а мешок приставила к губам и принялась надуть.

— Что ты делаешь, шалунья? — успела только вскрикнуть тетушка.

Племянница надула уже мешок и громко хлопнула им по столу. Вслед за тем она не знала, куда деваться от стыда, и закрылась уже не платком, а рукавом.

— Это у нее точно болезнь какая, — нашла нужным выговорить ее тетушка и крестная мать, — так же, как и танцы...

— А вы, мадемуазель, охотно танцуете? — спросил, улыбаясь, Иван Петрович.

Пылающее личико и голубые глазки мелькнули на миг один из-за пышного рукава, чтобы тотчас опять скрыться.

— Ну, что прячешься, дурочка? Кто же виноват? — ласково говорила фрёкен Хульда и

насильно опустила руку племянницы, служившую ей щитом. — Для Хильды, знаете, нет ничего милее танцев. Только жаль вот, здесь в провинции ни одна из дам не знает хорошенько менуэта...

— А в Париже у нас вошла в моду теперь еще совершенно особая, преграциозная фигура! — подхватил гость.

— Правда? — восторгалась девочка, и глазки ее, как две звездочки, заискрились. — Ах, если бы увидеть...

— Я вам хоть сейчас покажу. Только одному мне, разумеется, этого не проделать. Позвольте вашу ручку, а тетушка ваша будет, может быть, так милостива сыграть нам на клавесине?

Тетушке, естественное дело, нельзя было упустить столь счастливого случая — дать племяннице обучиться, притом даром, новейшей «преграциозной» фигуре у «настоящего парижанина», и она уселась за клавесин. Племянница еще несколько пожеманилась, но — охота пуще неволи — очень скоро сдалась.

И вот под звуки клавесина, рука за руку, наши молодые люди принялись старательно

выделывать замысловатые па с обязательными взаимными почтительными поклонами.

— Schon, sehr schon! — раздался в дверях мужской голос.

Фрёкен Хульда разом прекратила свою игру, а танцующие, как облитые холодной водой, отпрянули друг от друга.

На пороге стоял сам комендант, полковник Опалев. Судя по седине, он был на несколько лет старше сестры. Но высокий, сухопарый, без всякого брюшка, он держался чрезвычайно прямо; загорелое лицо его выражало решительность и строгость. Видно было, что человек этот привык повелевать, был взыскателен и к себе, и к другим. Молниеносный взгляд, брошенный им на фрекен Хульду, выдал, насколько бестактным считает он затеянный ею танец племянницы с совершенно чужим кавалером; но в обращении с гостем он старался соблюдать сдержанную вежливость, хотя левая рука его во время разговора нервно играла эфесом сабли, то извлекая ее из ножен, то с звяканьем вбивая опять в ножны.

— Sehr schon! — повторил он, подходя к мо-

лодому человеку. — Если не ошибаюсь, маркиз Ламбаль.

— Точно так, — отвечал тот, уже оправясь и развязно расшаркиваясь. — Первым делом я, разумеется, счел долгом представиться вам, как градоначальнику, а затем я хотел просить о вашем посредничестве между мною и майором де ла Гарди: я имел несчастье застрелить его любимого лося...

— Знаю, знаю — от самого де ла Гарди, — перебил комендант. — Это точно, несчастье, потому что он, при всех своих достоинствах, в последнее время, вследствие некоторых душевных потрясений, сильно расстроен и... невменяем. Мне приходило уже в голову, не проще ли всего вам убраться отсюда подобру-поздорову...

Иван Петрович вспыхнул: ту же самую мысль высказал накануне и фон Конов, но высказал с глазу на глаз; здесь же постыдное предложение — бежать — делалось ему в присутствии двух особ прекрасного пола.

— Если я обратился к вам, господин комендант, то вовсе не затем, чтобы искать защиты от кого бы то ни было! — вскинув голову, про-

говорил он. — Не хвалясь, могу вас уверить, что я стреляю ласточек на лету, дерусь не хуже любого военного на рапирах и могу всегда сам постоять за себя. Но мне больно, что без всякого умысла с моей стороны я причинил огорчение почтенному старцу, и мне хотелось бы мирным, дружеским образом уладить с ним дело.

— Так же, как и мне. Впрочем, сейчас же отбыть отсюда вам и возможности нет: я нарочно справлялся только что об отходе иностранных судов. Оказывается, что ни одно из них не нагрузится ранее будущей недели. Поэтому, действительно, единственный исход — свести вас обоих на нейтральной почве. Одного, самого трудного, я по крайней мере достиг: майор де ла Гарди принял мое посредничество и согласился быть у меня нынче вечером к восьми часам. Раз обещал, он будет к назначенному часу. Надеюсь, что и вы, господин маркиз, будете не менее аккуратны?

Говоря так, комендант протянул руку на прощание маркизу. Тому ничего не оставалось, как до вечера откланяться. Обе фрёкен, окончательно стушевавшиеся с момента по-

явления на сцену главы дома, молчаливым книксеном ответили на прощальный поклон гостя.

Выбрался Иван Петрович на вольный воздух с довольно легким сердцем: переправляясь в лодке обратно на мызу фон Конова, он как-то мечтательно про себя улыбался и тихонько насвистывал мелодию того самого менуэта, который играла перед тем на клавишине к его «новейшей фигуре» фрёкен Хульда: мысли его, очевидно, витали более около менуэта, чем около майора де ла Гарди. Но он далеко не был бы так беспечен, если бы мог слышать тот разговор, который последовал между членами семьи Опалевых сейчас по выходе его из горницы.

— Ты, любезный Иоганн, не дал ему даже кофе-то допить, — в минорном тоне позволила себе укорить брата фрёкен Хульда.

— Кофе допить! — повторил тот с желчной усмешкой и энергично брякнул опять саблей в ножнах. — Мы его уже угостим не таким еще кофеем!

— Что такое, братец? Ты как будто недоволен нами...

— Ха! Напротив, отменно, чрезвычайно доволен! Ты знаешь ли, сударыня, кого ты угощала, кому позволила так бесцеремонно брать за руку нашу Хильду?

— Кому? Он отрекомендовался маркизом Ламбалем, и, признаюсь, — я бывала, ты знаешь, при дворе, — по всему его обращению сразу увидела, что человек этот принадлежит к самому высшему кругу...

— Так и есть! Как настоящий шпион, он тебя кругом уже обошел.

— Он — шпион? — дрожащими губами переспросила фрёкен Хильда, и последняя кровинка сошла с ее румяного лица. — Но кто вам сказал это, папа?

— Узнал я это прежде всего от майора де ла Гарди.

— Но де ла Гарди разве можно верить? И для чего французам посылать к нам шпионов?

— То-то, что Ламбаль этот не француз, а русский: камердинер крикнул ему по-русски, и слышал это не один де ла Гарди, но и бывшие при нем люди.

— Когда? Где?

— Это длинная история, которую ты скоро и без того узнаешь. Теперь весь вопрос в том, чтобы его вконец уличить. Я пригласил к вечеру, кроме де ла Гарди, еще нескольких из господ офицеров, чтобы было побольше свидетелей, а также коммерции советника Фризиуса, как тонкого дипломата. Они с де ла Гарди придут сюда уже в половине восьмого, чтобы предварительно установить со мною весь образ действий. Других я покуда нарочно еще не посвящал в тайну, чтобы они держали себя тем непринужденней. И вы обе у меня отнюдь не показывать виду — ни-ни!

— Но ведь это, братец, какая-то уж ловушка, волчья яма! — скромно возмутилась фрёкен Хульда.

— А как же иначе поймать волка?

— Да разве он сколько-нибудь похож на волка? Помилуй! На лице его написано такое прирожденное благородство, такое простосердечие...

— Ни слова более! — резко оборвал ее брат. — Твоя забота теперь только в том, чтобы угощение было на славу, а главное — в бо-
гле двойная порция рома. Это мудрый совет

нашего почтенного Фризиуса: «in vino Veritas» — в вине истина, — сказал он. Развяжется у молодчика язык, так сам заговорит перед нами по-русски.

— Но если бы он точно оказался русским, что сделаете вы с ним, папа? — упавшим голосом прошептала дочка.

— Что делают с неприятельскими шпионами? Расстреливают.

— Его расстреляют! Папа, дорогой мой! Но если бы он даже был русским, то ведь он все же может быть невинным.

— Раз он русский, и толковать нечего: приговор его подписан.

— Но в нас, папа, разве не течет тоже русская кровь?

Теперь очередь побледнеть была за отцом девочки. Ему стоило, видимо неимоверного усилия над собою, чтобы отвечать ей с тем же авторитетным достоинством.

— Прадед твой, а мой дед, точно, был русским дворянином и, по Столбовскому договору, перешел в шведское подданство. Но не нам с тобой быть над ним судьями. Он был женат на коренной шведке. Я в третьем коле-

не, ты в четвертом — такие же коренные шведы, шведские дворяне...

Из глаз фрёкен Хильды брызнули слезы. Она без слов, с умоляющим видом простерла к отцу руки. Тетушка ее также поднесла к глазам платок. Коменданта это окончательно взорвало.

— С вами, женским полом, ничего на словах не столкуешь! — буркнул он. — На все у вас один аргумент — слезы. Так знайте же обе, вперед вас предупреждаю: чуть только по вашей оплошности маркиз этот о чем-нибудь домекнется и вздумает бежать — я не дам ему вздохнуть: в тот же миг голова его будет лежать на сажень от тела!

Выхваченная из ножен сабля со свистом прорезала воздух и наглядно проиллюстрировала устную угрозу. Удивительно ли, если обоим донельзя запуганным фрёкен воочию уже сдавалось, что голова молодого маркиза лежит перед ними отделенная от туловища?..

Глава десятая

*И пришли они к стене белокаменной...
Стоят караулы денны-нощны,
Стоит подворотня — дорог рыбий зуб,
Мудреные вырезы вырезаны.
А и только в вырез мурашу пройти.
Молодой Вольга догадлив был:
Сам обернулся мурашиком...
«Былина о Вольге Всеславьевиче»*

Кречинский.
*Сорвалось!
Сухово-Кобылин*

К майору фон Конову под вечер также пришла от коменданта приглашительная цидулка — пожаловать вместе с маркизом к восьми часам.

— Что и милейший хозяин наш будет гам, я очень рад, — говорил Иван Петрович своему камердинеру, помогавшему ему при одевании. — Он всячески, я знаю, постоит за меня.

— На всякий случай и я тоже примажусь, — заявил Лукашка.

— Тебе-то на что? А! Понимаю: план свой доделать. Ты, Лукаш, со своей затеей, смотри, еще в беду меня втянешь.

— Указчик Ерема, указывай дома, — отозвался калмык. — Кто кого втянет — старуха еще надвое сказала. Поднесут они тебе, сударь, опять своего дьявольского шведского варева...

— Буде у дьяволов в пекле столь же роскошный пунш, так жить им, вправо же, вовсе не так дурно.

— Да у тебя-то, родимый, от этого забористого пунша душа сейчас нараспашку, язык на плечо.

— Ладно! Дядька тоже выискался. Брысь под печку!

Так-то Лукашке пришлось опять действовать на собственный страх. Под прикрытием двух господ он без каких-либо затруднений попал во двор цитадели и в ожидании барина остался там же. Ему предстояло теперь проверить точность своего плана на месте.

Общее состояние крепостных сооружений вполне согласовалось с тем, что слышал он накануне от фон Конова. Цитадель стояла на

выдающемся мысе, образуемом Невой и Охтой; но от Невы к Охте огибал ее еще глубокий ров, наполненный водою, так что крепость оказывалась уже не на полуострове, а на острове, единственным выходом с которого служил подъемный мост. Над рвом возвышался высокий пологий вал, а по валу тянулся почти сплошной палисадник из заостренных свай, связанных шипами. Только для выдвигавшихся вперед семи бастионов с орудиями были оставлены в частоколе необходимые пролеты.

Посидев некоторое время, болтая ногами и посвистывая, на скамеечке около входа в главное здание цитадели, Лукашка, как бы со скуки и для того, чтобы размять члены, прошелся по двору. После усиленной дневной «экзерциции» крепостной гарнизон удалился на покой в свою казарму, стоявшую близ подъемного моста, и только в одной из надворных пристроек, именно в конюшне, замечалось еще некоторое движение. Лукашка заглянул туда: несколько солдат-кавалеристов задавали коням на ночь корм. Один из них грубо окликнул было любопытствующе-

го, должно быть, спрашивая: чего-де он к ним нос сует? Но тот махнул рукой и повернул за казарму.

Здесь, на заднем дворе, его встретило злобное ворчание двух больших дворовых псов из породы волкодавов, лежавших на цепи около своих конур.

Подмывало нашего шутника пустить в ход свое подражательное искусство — по-собачьи заворчать им в ответ, но он все же благоразумно воздержался и побрел далее своей дорогой.

Так обошел он и оглядел на досуге все имевшиеся на гласисе цитадели постройки. Все они, за исключением главного здания, были возведены из дерева, а стало быть (как соображал про себя калмык), представляли прекрасный горючий материал для русских бомб.

Уже на обратном пути с рекогносцировки он был задержан дежурным стариком сержантом, который отлучился в казарму, как надо было думать, чтобы запалить себе дымившуюся теперь в зубах его трубку кнастера, а может статься, еще и для того, чтобы

«подкрепиться». По крайней мере раздутое лицо, сизый грушевидный нос и не совсем твердая походка довольно наглядно свидетельствовали, что у почтенного служивого, кроме табака, есть и другая слабость. В этом Лукашка окончательно убедился, когда тот заговорил с ним и из уст его пахнуло ароматом винной бочки.

Диалог обоих в количественном отношении произнесенных слов был крайне лаконичен, потому что ни один не понимал языка другого. Зато недостаток слов искупался выразительной мимикой.

По повелительному тону шведа и по внушительности, с которой тот тыкал его пальцем в грудь, калмыку было нетрудно домыслиться, что его допытывают о его принадлежности.

— Mon seigneur est la, — отвечал он, кивая головой вверх на освещенные окна комендантской квартиры.

— La-la? — переспросил сержант, картинно изображая руками игру на клавишах.

«Что он, не принимает ли моего высокогородного маркиза за заезжего музикуса? —

возмутился про себя камердинер самозванного маркиза. — Ну, да ведь его все равно не вразумишь. А маркиз мой — мастер и на клавесине».

— Oui, c'est cela: la-la-la, la-ri-ra! — поддакнул он и сам проделал по воздуху пальцами трель.

— Ah! Ah! — смекнул сержант и без дальнейших уже рассуждений повлек Лукашку за борт ливреи к той самой скамейке, где тот сидел перед тем, за плечи насильно усадил его опять и сам примостился рядом. — So! (Так!)

«Однако, что же это, неужто мне все время так и пробыть под конвоем? — рассуждал сам с собою калмык. — Эге! Да он никак окуней ловит?»

И впрямь, докурив трубочку, сержант заклевал уже носом. Прождав еще минут пять, Лукашка тихонечко приподнялся и фланирующим шагом направился к ближайшему бастиону.

— Vand от! (Назад!) — раздался позади его повелительный голос сержанта.

Лукашка сделал вид, что не слышит.

— Vand от! Dunder och granater! (Назад!

гром и гранаты!) — донеслось еще настоящее и вслед за тем железная пятерня сгребла его за загривок.

Воевать с подгулявшим воином, очевидно, не приходилось. Калмык без сопротивления дал отвести себя обратно к прежнему сиденью, безропотно принял и заключительный подзатыльник.

— Din herre dar, och du har! (Твой барин там, а ты тут!) — внушил ему сержант, подсаживаясь к нему уже плечо к плечу.

— Dar och har! Dunder och granater! Tres bien! — залился мнимый француз таким простодушным, заразительным смехом, что швед сперва искоса сердито оглядел его, но затем и сам усмехнулся и толкнул его локтем в бок:

— Dunder och granater! Ju, Ju. (Да, да). Знакомство было завязано; оставалось извлечь из него возможный «фортель». Лукашка полез в карман и забренчал деньгами.

Бравый швед грозно приосанился: уже не подкупить ли его хочет этот молокосос? Но молокосос, с самой невинной рожей закатив глаза и откинув назад голову, как курица, пьющая воду, звонко защелкал пальцем по

натянутой коже шеи. И менее привычное ухо узнало бы бульканье жидкости, выливаемой из бутылочного горлышка. Суровые морщины на лбу служивого сгладились, и он покровительственно потрепал молодчика по плечу.

— En liten drick, he? (Маленький глоточек, ге?)

— Drick, drick! ju, ju! — подтвердил Лукашка, доставая из кармана целую горсточку серебряной монеты и звонко подбрасывая ее на ладони.

Кто устоял бы против таких заманчивых звуков? Пускай «herre kommandant» строжайше и наказал ему, сержанту, не упускать из виду этого французишку, но, сопровождая его безотлучно взад и вперед, он разве отступил бы от наказа? А малый, кажись, хоть и глуповатый, да славный!

— Komm! — решил сержант, и оба двинулись к крепостным воротам.

Нельзя сказать, чтобы и стоявший здесь у подъемного моста часовой совершенно равнодушно отнесся к данному ему комендантом приказу: не пропускать через мост никого постороннего. Но распоряжение это, очевидно,

распространялось только на таких лиц, которые захотели бы пройти мимо без ведома начальства. А мог ли он, простой рядовой, задерживать постороннего, когда тот удалялся в сообществе дежурного сержанта?

Таким образом, он беспрепятственно пропустил обоих мимо себя, и только когда те свернули налево на городской мост через Охту, он более из любознательности, чем по долгу службы, перешел также подъемный мост, чтобы хотя издали глазами проследить дальнейший путь их. Оказалось это вовсе не трудно: перебравшись на ту сторону Охты, они скрылись тут же в дверях углового домика, гостеприимно мерцавшего своими освещенными оконцами. Надписи, красовавшейся над домиком, на таком расстоянии сквозь ступившийся ночной сумрак невозможно было, разумеется, различить, но досадливый жест, с которым часовой сперва дернул себя за ус, а потом почесал в затылке, без слов выдал, что ему куда как хорошо знакома та краткая, но многозначная надпись: «Krog». («Кабак»).

Тем менее оснований имел он останавливать ушедших, когда те, минут десять спустя,

вернулись из города в цитадель. Но два обстоятельства обратили при этом его внимание: во-первых, они шли уже не каждый сам по себе, а рука об руку, выписывая ногами замысловатые «мыслети»; во-вторых, сержант свободной рукой прижимал к груди довольно объемистую бутыль.

На крепостном дворе между двумя новыми приятелями возобновился их мимический диалог. Лукашка с озабоченной миной указал сперва на прежнее сиденье их перед квартирой коменданта и на окна этой квартиры, откуда доносились веселый говор и смех, потом выразительно подмигнул на крепостной вал над Невою и на выглянувшую из-за туч луну.

— Riktigt, min van! (Твоя правда, мой друг) — одобрил сержант и об руку с юным другом направился к пролету крайнего бастиона, выходявшего одним крылом на Неву.

Здесь, вдали от взыскательного начальства, под прикрытием палисадника, на дерновом откосе, при свете луны и журчании волн, он мог с полным душевным спокойствием раскупорить свою драгоценную бутыль и ближе ознакомиться с ее содержимым; при-

чем ничуть, конечно, не претендовал на своего непрактичного молодого друга за то, что тот как будто забыл уже про него и зазевался на расстилавшуюся внизу у ног их ночную картину.

Стоявшая еще довольно низко над противоположным берегом сребророгая луна отражалась в подвижной зыби широкой реки с одного берега до другого яркой искристой полосой, тогда как все остальное пространство тонуло в мягком полусвете. По временам нагоняемые морским ветром облака закрывали луну, и тогда все кругом погружалось в полный, непроглядный мрак. Только с того берега реки, то вспыхивая, то застилаясь дымом, тем явственнее светились какие-то красноватые огоньки.

— Смольна? — лаконично спросил, указывая туда, Лукашка, вспомнивший, что говорил его господину коммерции советник Фризиус про русских смолокуров.

— Смольна, — был лаконичный же ответ, за которым, однако, послышалось более красноречивое бульканье — уже не искусственное, а вполне естественное.

Калмык имел свои основания не замечать, чем развлекается его товарищ, как и тот свои — не отвлекать «молокососа» от его дурацких мечтаний. Башенные часы на цитадели пробили четверть часа — оба приятеля не обменялись ни словом; вот пробила половина — то же молчание.

Тут около Лукашки раздался тяжелый, протяжный храп. Он через плечо оглянулся на соседа. Тот лежал уже врасстяжку, картинно раскинув руки и ноги и в правом кулаке машинально сжимая еще горлышко бутылки, из которого на мураву сочились последние капли.

— Готов! — пробормотал про себя калмык и осторожно приподнялся.

Кругом на крепостном валу, кроме них двоих, по-прежнему не было ни души. Ясное дело, про них совершенно забыли. Из-за чистоты слабо долетали только голоса веселящихся гостей из окон комендантской квартиры, да с заднего двора из-за казармы временами поднимался сердитый лай знакомых уже ему волкодавов в ответ на доносившееся издалека, с той, знать, стороны Охты, неутомон-

ное тьяканье какой-то дворняжки.

«Мешкать долее нечего: месяц, того гляди, совсем спрячется, тогда пиши пропало».

Первым долгом он прошел низом вала к какой-то одинокой лодке, которую зоркий глаз его давно уже подметил на самом углу, где крепостной ров сообщался с Невою. Изящного вида двухвесельная лодочка была прикреплена цепью к деревянному столбу.

«Приватная лодка коменданта, а может, и фрёкен дочки? Ну, все едино, и нам в крайности пригодится».

Убедясь, что при лодке нет замка и что отцепить ее не представляет никакой мудрости, он поднялся опять на вал к ближайшему бастиону, сосчитал здесь пушки, вымерял шагами расстояние до следующего бастиона, пересчитал и тут орудия и так далее, пока не добрался до крепостных ворот. Их он перелез ползком, чтобы по ту сторону ворот тем же порядком продолжать свою разведку. Около казармы его задержало на минутку угрожающее рычание цепных псов, почуявших, видно, приближение врага даже сквозь разделявший их от него сплошной частокол. Надо бы-

ло живее улепетывать, покуда чуткие бестии не подняли лая. Без дальнейших уже проволок тихомолком обойдя кругом всю цитадель, он возвратился на прежнее место.

Сержант, очевидно, и не подозревал временного отсутствия молодого приятеля: он даже не переменил своей живописной позы и выпускал ровный, звучный храп. Присев рядом на откосе, Лукашка достал из кармана свой бесценный план и при слабом свете луны, задернувшейся между тем дымчатой пеленой, принялся карандашом исправлять свой эскиз и пополнять его пометками на полях. Работа эта заняла у него добрую четверть часа, но была окончена как раз вовремя, потому что с моря надвинулась черная туча, которая совсем заволокла луну, и вслед затем стал накрапывать мелкий осенний дождик, который с минуты на минуту все более учащался.

«Теперь лей хоть как из ушата! — ухмыльнулся про себя Лукашка, чрезвычайно довольный достигнутым результатом. — Однако доброго друга и пособника моего оставлять здесь под дождем было бы не по-христиански».

И он принялся довольно бесцеремонно тормошить спящего:

— Levez vous done, cher camarade, dunder och granater!

Тот сначала в ответ мычал только что-то по-шведски, но сыпавшиеся сверху в лицо ему холодные дождевые брызги вскоре привели его в себя. При помощи калмыка он кое-как встал на ноги и дал провести себя вверх к пролету бастиона, а оттуда и к комендантскому подъезду.

Здесь бравый служака настолько даже очувствовался, что заметил выходящего из подъезда давешнего часового от подъемного моста и начальнически потребовал у него отчета, на коком-де основании тот посмел до срока покинуть свой пост?

Но часовой, не отвечая, с ружьем на отverse, шмыгнул вон через двор к казарме, чтобы две минуты спустя показаться опять оттуда в сопровождении пяти других вооруженных солдат. Трое из них повернули к крепостным воротам, трое же других вошли в комендантский подъезд и, гремя ружьями и саблями, поднялись по лестнице во второй этаж. Сер-

жант уже не ставил им никакого вопроса, потому что, прислонясь головой к плечу Лукашки, забылся безмятежным сном. Зато в чутком калмыке шевельнулось невольное подозрение:

«Эти-то про кого же? Уж не про меня ли, грешного, с моим маркизом?»

Никаких сомнений на этот счет у него бы не было, если бы он давеча, погруженный в свою чертежную работу, хоть раз поднял взор: тогда он увидел бы наверху, за крайней пушкой, голову того же часового, наблюдавшего за ним издали с особенным интересом.

Глава одиннадцатая

*Французик из Бордо, надсаживая грудь,
Собрал вокруг себя род веча...
Грибоедов*

*«Фу-фу! доселева русского духа видом
не видано, слыхом не
слыхано, а нонече русской дух в виду яв-
ляется, в уста мечется!»
«Сказка о молодильных яблоках»*

Благодаря принятой комендантом мере предосторожности — преждевременно не посвящать в тайну никого из приглашенных, кроме Фризиуса и де ла Гарди, — все собравшееся к начальнику офицерство обходилось с молодым маркизом совершенно непринужденно; те же, которые два дня назад имели случай свести с ним знакомство в загородном *besokarehuset*, обрадовались ему, как милому старинному приятелю. Так как вечер, по обычаю шведов, начался обильной закуской с не менее разнообразной выпивкой, то вскоре от многоголосого говора и смеха в столовой стоял. Зная маркиза Ламбаля за страстного

любителя охоты, всякий старался преподнести ему какую-нибудь охотничью быль или небылицу. Чтобы не отступать от других, и фенрик Ливен поведал о том, как домашний пес его Гектор и наяву, и во сне гоняется за зайцами: каждое утро аккуратно переплывает на Иенисари, Заячий остров, чтобы притащить оттуда за уши свежего зайчика к завтраку своему господину, а потом ложится в свою корзину, натягивает себе зубами на голову свое одеяло и тотчас начинает опять во сне таявкать и дрыгать ногами.

— Чтобы узнать, что ему снится, — продолжал рассказчик, наперед уже фыркая над остроумным финалом своего рассказа, — я, ложась спать, взял у него раз нарочно одеяло и сам накрылся им с головою. И представьте себе: мне тотчас приснилось, что я с лаем гоняюсь за зайцем! Ха-ха-ха!

— На четвереньках? — спросил фон Конов, оглядывая длинные жерди ног юного фенрика.

— Да, но в образе Гектора.

— А не фенрика Ливена? Еще бы.

Теперь слушатели залились дружным сме-

хом, и фенрик, очень довольный таким результатом своей истории, громче всех.

— Гектор ваш, кажется, феномен, — любезно заметил Иван Петрович, которому стало несколько жаль наивного юношу.

— Нет, датский дог, — с важностью поправил его Ливен.

По новому взрыву общей веселости он, казалось, понял, что опростоволосился; а неугомонный фон Конов наставительно пояснил ему, что «и дог, и фенрик могут быть при известных условиях феноменом. Сам по себе фенрик еще не феномен, но если ему снятся собачьи сны, то это уже в некотором роде феноменальное явление; если же такие сны у него повторялись бы и наяву, то он был бы несомненным феноменом».

— Ну, ну, камрад, не обижаться! — заключил шутник майор, дружески хлопая по плечу подчиненного, у которого углы рта, как у ребенка, готового заплакать, судорожно задергало и неизменная, обнажающая блестящие, белые зубы улыбка заменилась какой-то болезненной гримасой. — В дни юности и я точно так же не раз давал повод моим стар-

шим товарищам трунить надо мною, — чему могу привести хоть сейчас пример. Был я, как вы, фенриком, когда в первый раз участвовал в медвежьей травле. Медведя благополучно затравили, шкуру с него содрали и повесили на дерево, а окорок тут же изжарили на ужин у костра. Но дело было зимою, мороз стоял трескучий, и целый день промаясь по лесу по колено в снегу, я донельзя устал и продрог. Наскоро утолив голод, я, чтобы скорее только отдохнуть и согреться, снял с дерева еще не просохшую медвежью шкуру, завернулся в нее шерстью внутрь и улегся калачиком в сторонке. Но за ночь сырая шкура снаружи крепко-накрепко замерзла, и когда товарищи поутру стали будить, тормошить меня, я, как зашитый в мешок, не мог пошевелинуться и в ответ им мычал лишь оттуда по-бы-чачьи. Только когда они подкатали меня к костру и оттаяли понемногу у огня, я вылупился наконец из моей скорлупы, как яичко. В душном меховом мешке моем я вынес подлинные муки Тантала, и товарищи мои встретили меня, полуживого, гомерическим хохотом — совсем таким же, каким вы вот теперь смеетесь над

прежним фенриком фон Коновым!

— Ваша история приводит мне на память один презабавный так же анекдот в Москве... — подхватил Иван Петрович и вдруг прикусил язык.

— В Москве? — переспросил коммерции советник Фризиус, который с зоркостью сыщика следил все время за каждым его движением и словом. — А вы, господин маркиз, были, значит, и в Москве?

— Сам не был, — нашелся уже наш маркиз, — но слышал от той самой особы, которая играла в анекдоте главную, хотя и страдательную роль. Особа эта — мадам Санглиер, супруга нашего консула в Москве.

— Женщины у русских вообще осуждены на страдательную роль, понятно поэтому, что и к образованной иностранке у них применили те же грубые, дикие порядки!

— Напротив, мадам Санглиер вообще хвалит очень добродушие, гостеприимство русских, и сама выучила даже наизусть несколько русских народных песен, которым и нас, знакомых своих, обучила, так что мы потом в парижском салоне ее распевали их хором.

— А! Так вы, может быть, и теперь споете нам одну из тех песен?

— Если бы был подходящий инструмент под рукою...

— Национального инструмента русских — гуслей или как он там у них называется? — в доме у меня нет, — сказал комендант, уловив брошенный ему украдкой Фризиусом взгляд, — но рядом вот, в гостиной, к услугам господина маркиза клавесин. Кстати же, там и не так жарко, как здесь, да ждет уже дорогих гостей бовля пунша.

Обе фрёкен, Хульда и Хильда, слишком хорошо помнившие утреннюю угрозу брата и отца, старались быть до сих пор любезными хозяйками. Но от внимательного наблюдателя не ускользнуло бы, что в приветливой улыбке их было что-то тревожное, деланное и что, угощая маркиза Ламбаля, обе странным образом словно совестились поднять на него взоры. Когда теперь все общество, по приглашению хозяина, шумно и весело двинулось в гостиную, в самых дверях мимо Спафариева проскользнула фрёкен Хильда и настоятельно шепнула ему:

— Не пойте!

«Что бы это значило? Неужели предостережение? Всячески не даром; надо держать ухо востро».

И, подойдя к клавесину, он взял пару аккордов и откашлялся, как бы прочищая голос, но затем заявил, что, к сожалению, чувствует себя не в голосе и потому просит разрешения — пропеть когда-нибудь в другой раз.

— Жаль! А что же анекдот-то ваш с мадам Санглиер? — спросил фон Конов.

— Да, да, расскажите! — приступила к маркизу и офицерская молодежь.

— Анекдот следующий, — начал Иван Петрович. — Прибыли Санглиеры в Москву с первым снегом. Ну, жители так называемой Немецкой слободы, где останавливаются иностранцы, устроили им, как водится, торжественный прием, а потом один из первых вельмож русских, Нарышкин, затеял для них и пикник в своей подмосковной усадьбе. Отправились, разумеется, на тройках, с колокольцами, факелами и потешными огнями. На беду мадам Санглиер, уроженка Марсея, непривычная к северным морозам, во время

бешеной скачки навстречу резкому ветру отморозила себе носик. А к ночи, когда собрались в обратный путь, разыгралась еще сильная вьюга. Как тут быть с этим нежным тепличным цветочком? Укутали ее с головы до ног в звериные шкуры, как младенца в пеленки, снесли на руках в сани — и «пошел!» Кучера же во время пированья господ тоже не зевали, изрядно «подкрепились» на дорогу и пустили коней своих по сугробам и ухабам во весь дух. Метель воеет и завывает, колокольца заливаются, кучера свищут и гикают, а господа того громче распевают хором песню за песней. Долго ли, коротко ли — домчались. Стали вылезать из саней. Хвать-похвать — а где же мадам Санглиер? Ah, sacrebleu! По пути, знать, как-нибудь обронили! Ну, супруг, мое сье Санглиер, понятно, вне себя, рвет и мечет. «Гони назад!» Покатили — и точно, не очень-то далеко обрели потерянную. Лежит себе, голубушка, в своих пеленках среди поля, как колода, ни рукой, ни ногой тронуть не может, наполовину даже снегом занесло. Подняли барыньку, поставили на ноги, а она хлоп на-земь. Опять подняли, поставили на ноги, а

она опять хлоп! Что за оказия? Развернули, распеленали из одной, другой и третьей шкуры, и что же вы думаете, милостивые государи мои?

— Она замерзла? Она задохлась? Ее волки съели? — раздались кругом предположения.

— Ни то, ни другое, ни третье — барынька, слава Богу, была живехонька. Но ставили-то ее, извольте видеть, не на ноги, а на голову, ну, а стоять на голове она еще не была приучена.

Развязка анекдота была для всех так неожиданна, что вызвала опять единодушный раскат смеха и рукоплескания, после чего каждый из присутствующих счел долгом чокнуться с мастерским рассказчиком.

Один лишь человек не разделял восхищения остальных. Человек этот был личный враг маркиза — майор де ла Гарди. Хозяин по-камест не решился даже представить их друг другу, так как и прежних своих сослуживцев, подходивших на поклон к почтенному ветерану, тот достаивал только невнятного брюзжания под нос. С самого прихода своего к коменданту он уединился в отдаленнейшем уг-

лу гостиной за печкой и не тронулся оттуда все время, пока другие гости угощались в столовой. Теперь же, когда обидчик его с таким успехом рассказал свой анекдот о злосчастной мадам Санглиер, бирюк майор не выдержал и выполз из своей берлоги с решительным протестом.

— Что варвары обошлись по-варварски с иностранкой — еще не диво, — отрывисто заговорил он, — но что офицеры славной шведской армии такому варварству рукоплещут — вот это диво, это стыд и позор!

И, стукнув по полу своей неразлучной шпанской тростью, он обвел озадаченных офицеров из-под нависших бровей таким негодующим, молниеносным взглядом, который должен был, казалось, испепелить их. Комендант-хозяин поспешил взять желчного старика под руку и, успокаивая, отвел его обратно в его медвежий угол. Дипломат же Фризиус, со своей стороны, признал момент наиболее удобным, чтобы затянуть сеть вокруг мнимого маркиза, у которого, как он заметил, от крепкого пунша глаза подернулись уже маслянистою влагой.

— А ведь майор-то де ла Гарди, господа, строго говоря, прав, тысячу раз прав, — сказал он. — Смеялись мы не потому, что сочувствовали грубости варваров, а потому, что у варваров выходит все дико и нелепо до смешного. Ведь вот хоть бы ч царь их, этот Петр, — разве он не так же точно дик и нелеп...

Ловкий коммерции советник не ошибся в расчете. Кровь ударила в голову молодому русскому, и с едва скрываемой запальчивостью он спросил Фризиуса, в чем тот, собственно, видит эту дикость и нелепость?

— Да во всем, — был ответ. — Побывав, например, за границей, царь Петр тотчас принялся перекраивать своих русских на немецкий фасон: насильно нарядил их в немецкое платье, сбрил им бороды...

— Коли вводить новые порядки, господин коммерции советник, то старые надо вырвать с корнем!

— А в покрое платья, в бороде, — по-вашему, корень? Иронический тон коммерции советника еще более разжег патриотический пыл Ивана Петровича.

— Для простой невежественной толпы, —

возразил он, — такие внешние признаки имеют уже первостепенное значение, потому что сразу наглядно порешают с прошлым, с закоснелыми привычками и предрассудками. Но царь Петр принимает меры и совсем иного рода, истинно просветительские: он выписывает к себе в Москву из Европы всяких мастеров и художников, первых знатоков в гражданских науках и военном искусстве, он отправляет молодых русских дворян за море обучаться всем заморским мудростям и хитростям, и сам, говорят, в Голландии жил простым корабельным плотником, работал наравне с другими...

— А это царское дело? — высокомерно усмехнулся Фризиус.

— Именно царское! Царь должен служить во всем примером своему народу.

— А голландцы — его народ?

— Нет, он и у себя, в России, не гнушается простого труда. Так, рассказывали мне, он несколько дней подряд ходил на железный завод, чтобы самому научиться ковать железо.

— И научился?

— Да, в один день выделал восемнадцать пудов, а так как за каждый пуд рабочим платилось по одному алтыну, то он потребовал себе от заводчика также восемнадцать алтын.

— И тот уплатил ему? Хорош тоже!

— Нет, хозяин завода выложил ему на стол восемнадцать червонцев. «Такому мастеру, — говорит, — как ваше величество, не грех заплатить и по червонцу с пуда. Но царь не принял. „Не надо мне, — говорит, — твоих червонцев. Работал я не хуже, но и не лучше других. Заплати мне мои восемнадцать алтын, а я пойду, куплю себе пару новых башмаков: мои, вишь, протоптались“. И, взяв деньги, съездил сам на рынок, купил себе новые башмаки, а после охотно хвалился ими перед своими придворными: „Вот башмаки, которые я заработал своими руками“.

— А что, господа, — заметил фон Конов, — осуждать царя Петра за такую простоту нам, право же, не приходится. Наш собственный король Карл ведь пущий еще спартанец. Платье на нем всегда самое простое, без шитья и галунов, бабьей обуви — башмаков — он вообще даже не носит, а одни высокие походные

сапоги. На походе — а когда, скажите, он не на походе? — довольствуется одной холодной пищей, часто одними сухарями. Увеселений никаких не признает: ни звериной травли, ни попоек, ни азартных игр. Он — король и солдат до мозга костей. Вся жизнь его — труд и лишения, самое строгое выполнение своего долга. Зато и от войска своего он требует такой же строгости к себе, и потому мы, шведы, до сих пор по крайней мере, везде и всех побеждаем! Так ли я говорю, господа?

— Так, фон Конов! Верно! Прекрасно сказано! Seal! — подхватили в один голос товарищи-офицеры, наперерыв звеня стаканами о стакан красноречивого камрада.

— До сих пор по крайней мере? — привязался тут к слову старик де ла Гарди, с прежним задором выступая опять из своего запечка. — Что вы хотите сказать, фон Конов, этим: „до сих пор?“

— А то, что если царь Петр действительно чем может быть нам со временем опасен, так именно своей царской простотой и выдержкой...

— И своим гением! — добавил Иван Петро-

вич.

— Вздор! Галиматья! — вскинулся де ла Гарди так враждебно на молодого русского, что тот, чтобы не попятиться назад, выпрямился во весь рост, сам выставил ногу и скрестил на груди руки.

— Что у вас тут, господа? — спросил комендант, входя из прихожей, куда он только что был таинственно отозван вестовым. Выслушав рапорт ждавшего его там часового о подозрительном поведении француза камердинера на крепостном валу и отдав необходимые приказания, он возвратился к гостям как раз вовремя, чтобы предупредить столкновение между двумя непримиримыми врагами.

— Да вот, — вступился Фризиус, деликатно отстраняя де ла Гарди от его противника, — почтеннейший майор наш не допускает и мысли, чтобы царь Петр мог быть нам когда-либо опасен.

— И я вполне разделяю его взгляд! — авторитетно сказал комендант. — Вспомните только, господин маркиз, погром русских два года назад под Нарвой. Нас, шведов, было с небольшим восемь тысяч человек, и эти во-

семь тысяч захватили в плен, со всем лагерем и артиллерией, армию в десять раз сильнейшую — в восемьдесят тысяч. Правда, армию скифов, но предводительствуемую храбрыми иностранными офицерами и притом, заметьте, в укрепленном лагере! Да это такое мировое событие, такой героический подвиг, память о котором будет жить еще долго после того, как от нас с вами и праха не останется! И нам ли, шведам, опасаться после этого чего-нибудь от них?

Пренебрежение, с которым Опалев отзывался об армии „скифов“, а еще более его глубоко презрительный, вызывающий тон не могли не задеть за живое молодого „скифа“.

— Ваши сведения, господин комендант, кажется, не совсем точны, — возразил он, и дрогнувший голос его показал, как близко он принимает вопрос к сердцу. — От посла нашего Санглиера мне достоверно известно, что русских под Нарвою было всего тридцать пять тысяч. А что до иностранных офицеров, то они-то, может быть, более всего и способствовали поражению русских.

— Как так?

— Да так, что войско этим иноземцам не доверяло, и когда вы, шведы, совершенно неожиданно зашли с тыла, солдаты сочли это делом измены своих офицеров и смешались, не зная, кого слушать, что делать. Самого же царя в это время, на беду, не было в лагере: за день перед тем он отбыл в Новгород — распорядиться военными снарядами и съестными припасами, в которых чувствовался уже недостаток, а король ваш Карл и воспользовался этим моментом...

— Как истинный великий полководец! — подхватил Опалев. — Чтобы отрезать русским отступление, он разрушил мост, напал на них врасплох, изрубил двадцать тысяч, а остальных, обезумевших от страха, заставил сдаться.

— С вашей военной точки зрения это, может быть, и замечательный подвиг. Но простите, если я, приватный человек, сужу несколько иначе: имей я дело с врагом, я дрался бы с ним честно лицом к лицу, а не подкрадывался бы к нему исподтишка, как какая-нибудь кошка...

По молодости лет и под влиянием горячи-

тельных напитков Спафариев невольно увлекся порывом патриотизма и выразился гораздо резче, чем позволяло благоразумие. Кругом между шведскими офицерами поднялся ропот, а майор де ла Гарди прорвался вперед и заревел на весь дом:

— Мальчишка! Это про нашего короля-то? Тут и молодой враг его вспыхнул, как порох:

— Вы забываетесь, господин майор, и дадите мне сатисфакцию!

Чрезмерная горячность раздражительного старика-майора готова была испортить все прекрасно налаженное дело: „царский шпион“ почти что совсем уже сбросил с себя маску, а тут вдруг все сводилось на личные счеты.

— Полноте, господа! — выступил миротворцем Фри-зиус, удерживая за руку маркиза, тогда как фон Конов, по знаку его, не без усилия отвел вон де ла Гарди. — Всякий вопрос только тогда может быть разрешен правильно, когда к нему обе стороны относятся *sine ira et studio*, без гнева и пристрастия. Вы, господин маркиз, как будто не одобряете нападения с тыла? Но неужели, скажите, с ди-

ким зверем могут быть общепринятые правила вежливости? А варварское государство тот же дикий зверь: если вы вздумаете нападать на него честно и прямо, то оно от всякого вашего удара будет только все более свирепствовать и в ярости своей наконец может действительно нанести вам смертельную рану...

— Так вы, стало быть, все-таки не отвергаете, что царь Петр может вас и смертельно ранить? — подхватил Иван Петрович с сверкающими глазами. — Не даром он признает вас, шведов, своими учителями в военном деле. „Шведы не раз еще побьют нас, — говорил он, — но в конце концов и мы научимся бить их“.

Две фрёкен, тетушка и племянница, до этого времени, как лица без речей, не смели вмешиваться в горячие препирательства мужчин. Теперь младшая что-то умоляюще шепнула старшей и та приблизилась к молодому французу.

— Вы, господин маркиз, кажется, играете на клавесине. Не сыграете ли вы нам чего-нибудь?

„Что они всё трусят за меня? — пронеслось у него в разгоряченном мозгу. — Не считают ли они и меня за труса? Так вот же нарочно докажу им...“

Он молча поклонился и присел за клавишин. Горница огласилась звуками триумфального военного марша. Офицеры, наэлектризованные воинственными звуками, столпились вокруг музыканта. Но торжественный марш незаметно перешел в заунывный, простой, но хватающий за душу мотив.

Если Иван Петрович, садясь за инструмент, и располагал вначале, быть может, ограничиться игрою русской песни, то по своей неудержимой натуре не мог уже остановиться на полпути и сперва тихонько, а потом все громче стал подпевать, отчетливо выговаривая и самые слова песни. То была стародавняя „Лучинушка“, которую присутствующие шведы имели полную возможность слышать иногда и от ниеншанцских русских простолудинов.

— Да ведь это национальная песня русских?

— И как он чисто выговаривает! Без всяко-

го акцента! — шепотом толковали меж собою слушатели-шведы.

Коммерции советник и будущий тесть его многозначительно только перемигнулись: попался-де молодчик! А фрёкен Хильда как стояла около своей менее догадливой тетушки, так и замерла на месте со сложенными руками.

Глава двенадцатая

— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа.
Гоголь

Бальзаминова.

Как же это можно живого человека собаками травить?

Бальзаминов.

Как можно? Что вы, маменька! Разве они знают учтивость?

Островский

В эту-то критическую минуту из открытых окон сквозь легкое плесканье мелкого осеннего дождя, под такт задумчивой песни

раздались звучные трели канарейки. Все присутствующие озадаченно насторожились, а фрёкен Хильда на цыпочках подошла к висевшей над одним окошком клетке с канарейкой: как это кенар ее умудрился вдруг так удачно вторить?

— А это Люсьен, камердинер маркиза, — объяснил ей вполголоса с усмешкой фон Конов, и когда за последней замирающей нотой песни все кругом забили в ладоши, он наклонился из окошка через горшки с цветами и крикнул вниз во двор: — Люсьен, пожалуйста-ка сюда!

Затем, обратясь к хозяину и двум хозяйкам, он сказал похвальное слово артисту-самоучке, который несомненно мог бы немало также поспособствовать развлечению общества. Но еще до прихода ожидаемого артиста общее внимание было отвлечено новым явлением.

На яркий свет зажженных в горнице канделябров, а может быть, и просто, чтобы укрыться от усилившегося на дворе дождя, в одно из окон внезапно впорхнул молодой воробышек. Тотчас, однако, заметив свою

оплошность, он заметался как угорелый, с жалобным писком летая взад и вперед под низким потолком и с налета ударяясь то в одну стену, то в другую.

Фрёкен Хильда забыла на минуту даже свои страхи за молодого маркиза перед очевидной смертельной опасностью, грозившей теперь бедной птичке.

— Она убьется! Ловите ее, господа, ловите! — кричала растерявшаяся девочка, и все молодое офицерство с Ливеном во главе бросилось исполнять волю комендантской дочери.

Воробышек, понятно, еще сильнее оробел и, прихлопнутый на лету чьей-то чересчур усердной рукой, упал прямо к ногам Спафари-ева. Тот поднял с пола трепещущую птичку и подал ее фрёкен Хильде:

— Получите, мадемуазель.

— Да она уже чуть дышит! — говорила девочка с самой искренней жалостью стараясь собственным дыханием вдохнуть в птичку жизнь.

— Общая судьба ветреной молодежи, — с ударением заметил тут комендант. — Зачем

не спросясь влетела в западню? Но разница между ветреной птичкой и ветреным молодым человеком та, что этакую глупенькую птичку будут кормить, холить, чтобы выпустить потом на волю, с человека же, как с разумного существа, взыщут по всей строгости законов.

Ветреник наш не мог уже сомневаться, что он очутился в западне, из которой нет ему выхода.

— Я, простите, не совсем понимаю, к чему вы речь ведете, господин комендант, — бодрясь еще, говорил он, невольно, однако, ища глазами своего личарду, который между тем появился в дверях.

— А вот камердинер ваш все сейчас разъяснит, — сухо отвечал Опалев и повернулся в Лукашке: — Подойди-ка сюда, любезный.

Смышленный калмык уже по строго-начальничиниче-скому тону хозяина не мог не смекнуть, что дело что-то неладно. Он окинул горницу быстрым взглядом. Дверей там было всего двое: одни вели в прихожую за его спиной, где, кроме вестового, торчали под ружьем трое часовых, другие — во внутренние

покои, откуда выбраться на свободу, очевидно, нельзя было и думать. Но в горнице было еще три окна, небольших, правда, и заставленных вдобавок цветами, но все открытых настежь.

— Ну, что же? Подойди! — властно повторил комендант, указывая пальцем место на полу в двух шагах перед собою.

Лукашка повиновался и двинулся вперед на указанное место.

— Где ты, скажи, был до сих пор?

— Где-с? Да тут же на лестнице: ждал вот господина маркиза.

— Только?

— Н-нет... Прогулялся перед тем и по двору.

— А может быть, и по валу?

«Часовой, знать, подглядел и донес, — сообразил калмык. — Стало, запирааться все равно ни к чему не поведет».

— Да, и по валу, — отвечал он.

— И что же делал там?

— Да посидел, поглядел на Неву...

— О! Он у меня ведь и поэт! — с развязным смехом вмешался Иван Петрович. — Мечта-

тель и поэт! Верно, сочинял опять стишки.

— И записывал тут же в записную книжку? — досказал Опалев. — Покажи-ка их сюда, любезный.

— Стихи мои так плохи, что показать их вашей милости я никак не посмел бы... — с притворной скромностью отвечал Лукашка, шаг за шагом отступая в сторону ближайшего окошка.

— Вздор! — выпалил теперь майор де ла Гарди, которого до этого времени удерживала от вмешательства в допрос субординация перед начальником. — Он просто снимал план цитадели. Обыскать негодя!

Роковое слово «план» был произнесено; никакие дальнейшие увертки ни к чему бы уже не послужили. Оставалось одно: прибегнуть к своему спасительному искусству — подражать всевозможным животным. Момента́льно оскалив до ушей свои длинные, белые зубы, дико поводя кругом белками глаз и скрючив пальцы рук наподобие звериных когтей, Лукашка с таким угрожающим, поистине медвежьим рычанием ринулся на скупившихся кругом офицеров, что те под пер-

вым безотчетным впечатлением, как перед рассвирепевшим зверем, отстранились и дали калмыку дорогу. Вслед затем все они схватились, конечно, за сабли, но одурачившего их двуногого медведя в горнице уже не было. сбросив с подоконника на двор цветочные горшки, он с ловкостью акробата сам выпрыгнул туда же.

Поднялся невообразимый переполох. Среди криков: «Держи его! Держи!» — офицеры кинулись к окнам. Однако у одного только фенрика Ливена достало духу повторить *salto mortale* калмыка из второго этажа с трехсаженной высоты. Но так как окно было, как сказано, довольно невелико, то долговязый юноша хватился сперва лбом о верхнюю перекладину, потом не знал, как управиться со своими длинными ногами, пока чья-то дружеская рука сзади не придавала ему смелости совершить отчаянный прыжок. Вслед затем стоявшие наверху у окон слышали снизу громкое «ох!». На вопрос, что с ним, бедняга простонал, что нога-де подвернулась, жилу, кажется, вытянул.

Тем временем де ла Гарди и Фризиус, опа-

саясь, чтобы господин, подобно камердинеру, как-нибудь не улизнул, схватили было с двух сторон за руки Ивана Петровича. Но тот стряхнул обоих с себя со словами: «Не уйду, не беспокойтесь» — и, покорясь судьбе, присел опять на свой стул у клавесина, положив ногу на ногу.

Комендант, убедясь в миролюбивом настроении изобличенного врага, счел первым долгом распорядиться поимкой его слуги и, подозвав к себе одного из адъютантов, отдал ему несколько коротких приказаний.

— Да собак с цепи спустите! — крикнул он вслед уходящему.

— Бога ради, папа! Ведь они же у нас презлые, они его растерзают! — услышал он за собою трепетный голос дочери.

— А! И ты еще здесь? И ты, сестра, тоже? Ну, милые, тут вам теперь совсем не место.

Сказано это было так холодно и повелительно, что ни та, ни другая не осмелились прекословить. Но на пороге, куда он последовал за ними, чтобы притворить дверь, фрёкен Хильда шепотом сделала еще вопрос:

— А что же будет с ними?

— Завтра узнаешь! — был ответ.

— Папа, дорогой вы мой! Не будьте слишком безжалостны...

— Да, братец... — решила вставить со своей стороны фрёкен Хульда, у которой, как и у племянницы, на глазах выступили слезы.

— Опять эта сырость! — морщась, сказал комендант. — Не мешайтесь, пожалуйста, не в ваше дело. Марш! Ну, скоро ли?

А со двора между тем среди плеска дождя доносился уже шум и гам подлинной травли: беготня и перекликающиеся голоса часовых; выстрел, другой и третий, собачий визг и лай...

— Фонарь сюда! — можно было расслышать голос фенрика Ливена. — Так и есть: кровь! Стало быть, он ранен!

— Слышите: кровь! ранен! — говорили меж собой толпившиеся у окон товарищи Ливена, которым не только из-за густой темноты, но еще более из-за высокого частокола не могло быть видно, как внизу вала раненый калмык, шагнув уже в лодку, должен был отбиваться веслом от налетевших на него свирепых волкодавов.

— Ему уже не уйти, — уверенно сказал хозяин, возвращаясь к сидевшему еще у клавирина гостю. — Теперь, милостивый государь, ваша очередь. Вы, я вижу, рассудительнее своего слуги и потому, разумеется, не станете попусту запираяться. Признайтесь-ка прямо: вы — русский?

Глава тринадцатая

Шейлок.

*Тот мяса фунт, которого теперь
Я требую, мне очень много стоит;
Он мой, и я хочу иметь его.
Шекспир*

*И, словом, так была юстиция строга,
Что кто кого смога, так тот того в
рога.
Фонвизин*

Прямой вопрос требовал и прямого ответа. Что пользы, в самом деле, было бы еще отпираться? Бегство калмыка было слишком явною уликой; а сейчас вот Лукашка будет, конечно, и схвачен, при нем найдут план цитадели — ну, и конец.

— Да, я — русский, — просто отвечал Иван Петрович, не выказывая ни особенного испуга, ни замешательства.

— Ага! Кто был прав? — торжествуя, воскликнул майор де ла Гарди. — Я всегда говорил, что он подослан русским царем, что он шпион...

С видом человека, не знающего за собою умышленной вины, наш русский гордо приподнялся с места и обвел обступивших его шведских офицеров открытым взором.

— Я верный слуга моего царя, но не шпион, — сказал он. — И если вам только угодно будет выслушать меня...

— *Audiat et altera pars*, совершенно верно, надо выслушать и противную сторону, — вставил коммерции советник Фризиус, важно кивнув головою.

— Вздор! Галиматья! — буркнул де ла Гарди. — Какие с ними еще церемонии? Довольно гвоздя и петли!

— Если они точно заслужили такой крупной кары, то, вероятно, ее и не избегнут. Но *festina lente*: тише едешь, дальше будешь...

— Простите, уважаемый друг мой, — с су-

хой вежливостью заметил комендант, — в военное время ваши гражданские максимы не применимы. Военный суд — скорый и строгий, но без суда мы все же никого не предаем смертной казни.

— Вздор! Я требую смертной казни и настаю на своем, sapperlot! — перекричал его опять горячий старик майор.

— Майор де ла Гарди! Прошу вас взвешивать ваши выражения, — не повышая тона, но с начальнической осанкой прервал протестующего Опалев. — Как вот господин коммерции советник, так точно и вы в настоящем случае не более, как приватный человек, и никакого решающего голоса не имеете.

Коммерции советник, привыкший, чтобы изрекаемые им «максимы» принимались во всем Ниеншанце «на вес золота», как непреложные истины, был, казалось, несколько оскорблен тем резким, чисто солдатским обращением, которое допустил себе и в отношении его, Фризиуса, будущий тесть его. Он нахмурился, но, не возразив уже со своей стороны ни слова, взял с края печки свою шляпу и, молчаливо отдав всем присутствующим ко-

роткий общий поклон, с высоко поднятою головою, не спеша удалился из горницы.

Не то старик де ла Гарди: из-под пушистых бровей его сверкнули молнии, губы его судорожно искривились и на углах их показалась пена.

— Как? Я — приватный человек? — зарычал он вызывающе, со сжатыми кулаками подступая к коменданту. — Я, сударь мой, по воле короля, обязан теперь подчиняться вам, правда, но на деле я такой же примерный боевой солдат, как и вы...

— Были таким же, а может быть, еще примерней, — с той же сдержанностью отвечал Опалев, — но с тех пор, как вы в резерве...

— В резерве! А вы небось и рады? Сели непрощенно на чужое место...

Жилы на висках коменданта заметно налились, ноздри его раздулись и задрожали. Но самообладание ни на минуту его не покидало.

— Будет, господин майор де ла Гарди! — коротко оборвал он спор. — В уважение к вашим сединам и к вашим прежним заслугам я не желаю придавать особенного значения

необдуманным словам, которые, очевидно, вырвались у вас сгоряча. И впредь, будьте уверены, я буду очень рад видеть вас у себя в доме в числе самых почетных гостей, но теперь все эти господа офицеры уже не гости мои, а члены военного совета, заседание которого должно сейчас открыться, вы же — офицер неактивный и не призваны подавать вместе с ними голос, поэтому я вынужден просить вас на время оставить залу заседания...

— То есть вы просто гоните меня из своего дома? — подхватил де ла Гарди, задыхаясь от негодования. — Покорнейше благодарю вас, господин комендант! Я отрясаю прах от ног моих.

Притопнув ногами, чтобы «отрясти прах», он заковылял к выходу, с силой распахнул дверь да так и оставил ее открытой настежь. Вследствие этого можно было ясно слышать его тяжелое гроыхание вниз по деревянным ступеням лестницы, вслед затем раздраженный голос его донесся уже со двора: расходившийся старик отчаянно пушил и там кого-то.

Причина его нового гнева тотчас разъяснилась. Влетевший в горницу адъютант впопыхах доложил, что хотя беглец, судя по кровавым следам, серьезно ранен и собаки также его несколько задержали, но ему все-таки удалось отбиться от них и укатить в комендантской лодке; а так как под рукой на беду никакой другой лодки не оказалось, то он, адъютант, распорядился откомандировать фенрика Ливена к городскому мосту с баркасом майора де ла Гарди, но тут-де вмешался сам де ла Гарди и наотрез объявил, что баркаса своего никому не уступит.

— Так бегите же в казарму, — прервал докладчика комендант, — возьмите с собою полроты солдат и на всех лодках, какие только найдутся на перевозе, пускайтесь в погоню. Да не забудьте, кстати, захватить факелы...

— Дождь, господин комендант, льет как из ведра: всякий факел затушит.

— Ну, уж как там быть — ваше дело! В ожидании же, господа, чтоб не терять времени даром, мы можем приступить и к следствию, — обратился комендант строго деловому

вым тоном к присутствующим офицерам. — Прошу сесть, а вам, mein Herr, — не знаю, как теперь и величать вас, — не угодно ли стать вон там, по ту сторону стола.

По молчаливому знаку начальника, младшими офицерами в мгновение ока были убраны со стола бовля и стаканы, а на место их перед начальником очутились чернильница, гусиное перо, пара карандашей и пачка чистой бумаги.

Ивану Петровичу ничего не оставалось, как подчиниться обстоятельствам.

— Le vin est tire, il faut le boire! (Вино налито, надо его выпить!) — улыбнулся он, пожимая плечами и становясь на указанное место. Но улыбки у него как-то не вышло, очень уж формальна была вся обстановка; все эти недавние еще приятели его, офицеры, сидели теперь перед ним насупясь и избегая поднять на него взор: с этой минуты он был для них только подсудимым, с которым они не могли иметь уже никаких общечеловеческих отношений.

Один только добрейший фон Конов как будто сохранил к нему еще прежнее располо-

жение, потому что, взглянув на него с грустным участием, спросил председательствующего: не дозволит ли тот ему еще до начала следствия сделать одно общее замечание, которое...

Но начальник остановил его на полуфразе:

— После допроса, господин майор, вам, наравне с другими, в порядке старшинства, будет предоставлено высказать все, что вы признаете нужным.

— После допроса? Слушаюсь, как прикажете. Раздав по листу и по карандашу двум сидевшим по сторонам его старшим офицерам, Опалев обмакнул в чернильницу перо и обратился к подсудимому с обычными вопросами:

— Ваше имя и фамилия?

— Иван Спафариев, — был ответ.

— Как?

— Спафариев.

— Гм... Оригинальная фамилия!

— Вполне оригинальная, господин комендант, потому что предки мои еще в шестом колене носили ее с гордостью.

— Хорошо... Национальность?

— О ней я только что имел честь вам до-

кладывать: я — коренной русский.

— Ваша вера?

— Православная.

— Звание?

— Столбовой дворянин и калужский помещик.

— Занятие?

— М-да... Будь я у себя дома, в деревне, я не затруднился бы очертить вам мой образ жизни: номинальное высшее наблюдение над тем, как меня обкрадывает мошенник приказчик да с утра до вечера усиленная забота об услаждении своей грешной утробы.

— Я не шучу, mein Herr!

— И я, Herr Kommandant, не думаю шутить. Русская натура — широкая, и если русский барин, как я, вдобавок зажиточный, так дом его — полная чаша, никогда не оскудевающая ни для добрых друзей, ни для всяких приживальцев и нищей братии. Само собою разумеется, что, кроме еды и питья, есть у нас и другие интересы, как-то: псовая охота, и сам я — страстный охотник...

— Вы уклоняетесь в сторону от вопроса, — нетерпеливо перебил его комендант. — При-

были-то вы ведь не из России, а из Любека?

— Точно так, попал же я туда, как потом и сюда, на Неву, вот какими судьбами.

И в кратких словах, без всякой уже утайки герой наш поведал о своей посылке царем в Тулон и Брест, о своей встрече на обратном пути с подлинным маркизом Ламбалем, об обмене с ним паспортов по недосмотру немецкой полиции и о вызванном этим случайным обстоятельством, легкомысленном, пожалуй, решении своим завернуть на Неву ради охоты на лосей. Умолчал он только об одном: что камердинер его на свой страх взялся добыть для царя план ниен-шанцской цитадели. Но на этот счет он, Иван Петрович, как непричастный к замыслу Лукашки, мысленно «умывал руки».

Исповедь его дышала такой искренностью и правдивостью, что трудно было не придавать ей веры. По крайней мере большинство его судей глядели на него уже заметно благосклонней. Председатель, однако, не был так доверчив и выразил подсудимому сомнение, чтобы человек в здравом уме и памяти из-за какого-то лося мог рисковать головою.

Спафариев в ответ развел руками:

— А вот подите ж! Я и сам теперь ясно вижу, что сотворил превеликую глупость, но на иную глупость, именно потому, что она очень уж велика, употребляешь тем более ума, а особенное преимущество человека перед другими тварями, как известно, в том ведь, что он творит свои глупости сознательно.

— Так что вы, mein Herr, действовали совершенно сознательно?

— Совершенно, все равно как пьяница, которого один внутренний голос уговаривает: «Экая ты, братец, дрянь! Брось пить!» — а другой подзадоривает: «Не давай бранить себя, назло вот пей!» Точно так и я сам себя подхлестывал на всякие сумасбродства, ну, и несу теперь, понятно, полную ответственность.

— Не можете ли вы привести еще чего-нибудь в свое оправдание?

— Разве то, что сама судьба меня уже жестоко наказала, не дав мне даже поохотиться на лосей, из-за которых-то, собственно, я и совершил весь этот далекий вояж с морской болезнью в придачу. Лося майора де ла Гарди я не беру в расчет, потому что трофей мой вы

мне ведь не уступите?

— Об этом не может быть и речи. Не угодно ли вам теперь, mein Herr, выворотить карманы?

— С удовольствием.

Но там, кроме паспорта на имя маркиза Ламбаля, оказались только самые невинные вещи: полный кошелек денег, пара носовых платков: один — для употребления, другой — про запас, черепаховый гребешок с инкрустацией и флакончик с духами.

— А оружие при вас никакого не имеется? — спросил комендант.

— Нет... Ах, впрочем, виноват, есть.

И из особого внутреннего кармана появился известный уже читателям кинжал.

— Больше ничего?

— Прикажете кому-нибудь из господ офицеров обыскать меня, если не верите!

Возвратив владельцу туалетные принадлежности, Опалев остальные предметы отложил в сторону со словами:

— В свое время получите обратно.

Затем по-шведски заметил другим судьям, что объяснение подсудимого будто у него не

было никакой иной цели, как поохотиться на лосей, крайне невероятно.

— Вполне разделял бы ваш взгляд, — возразил фон Конов, — если бы мы имели дело со шведом, а не со славянином.

— А в чем же разница, господин майор? Субъект этот, как бы то ни было, европейски образован, пробыл три года за границей.

— Так, но натуры славянской, первобытной, стихийной и Европа не переделает, ей, как ветру поднебесному, нет ни удержу, ни запрету. Взгляните сами на этого простодушного юношу, этого взрослого младенца: ну способен ли он быть шпионом? А главное: ужели, скажите, царь Петр выбрал бы младенца на столь ответственное дело?

— Гм... Последнее замечание ваше довольно убедительно. Ну, а если у камердинера его все же окажется план цитадели?

Фон Конов, видимо, смутился: ему теперь только ударило в голову, что сам же он ведь показывал Люсьену старый план цитадели, нарочно разъяснял еще его ему и оставил потом некоторое время в руках лукавца.

— Если бы даже оказался, — пробормотал

он, — то с господина едва ли можно взыскивать за самовольство слуги... А! Майор де ла Гарди!

Все присутствующие с удивлением обернулись к выходной двери, в которой, в самом деле, показался снова старик-майор.

От бега и быстрого восхождения по лестнице он был краснее кумача и так запыхался, что в начале не мог произнести ни слова.

Приложив к волнующейся груди руку, он, как был, в мокром плаще своем, опустился в услужливо пододвинутое ему одним из младших офицеров кресло. Но вечно омраченные черты брюзгливого человеконенавистника положительно сияли, словно он помолодел на двадцать лет.

— Вы говорили вот, что я — человек невоенный... — пропыхтел он наконец с расстановкой, обводя окружающих победоносным взглядом, — а покамест вы сами тут сидите этак сложа руки... я нагнал злодея...

И, переведя дух, он отрывисто начал рассказывать, как, выехав на своем баркасе из Охты на Неву и увидев на том берегу костры русских смолокуров, мигом смекнул, что бег-

лец искал спасения у своих сородичей. Так оно и вышло.

— А те не пытались его упрятать? — спросил Опалев.

— Не успели: только его кучкой обступили, как я был уже тут.

— А он не очень сопротивлялся?

— Не до того ему было: он сильно ранен и лежал на земле без памяти, с забинтованной ногой, — сам, видно, дорогой оторвал себе рукав рубахи да забинтовал, только крови не унял.

— Но он жив?

— Еще дышит, но о сю пору не очуствовался. Волкодавы ваши его тоже порядком, кажись, потрепали: вся ливрея на нем изодрана.

— Надо сейчас обыскать его!

— Сделано. Мы обшарили его до ниточки.

— И что же?

— Да ничего!

— Никакого плана?

— Ничего, говорю вам. Верно, по пути в воду бросил, чтобы не было улики.

— Либо никакого плана и не было, — вста-

вил фон Конов.

— Ну, нет, извините, — уверенно возразил комендант. — Показанием часового обстоятельство это вполне установлено. И зачем бы негодяй этот спасался от нас, если бы не знал за собою тяжкой вины? Итак, мне кажется, мы можем не медля постановить наш приговор, чтобы в двадцать четыре часа военное правосудие было удовлетворено.

— И мне, господин комендант, как наиболее содействовавшему поимке преступника, хоть и неактивному офицеру, вы не откажете теперь, надеюсь, если не участвовать в решении суда, то присутствовать при судоговорении? — не без самодовольной колкости спросил де ла Гарди.

Опалев преклонил голову.

— Услуга, которую вы оказали нам в этом деле, майор де ла Гарди, так велика, что ваша просьба должна быть уважена, при условии, конечно, что вы не будете высказывать вашего личного мнения, пока сам суд не сочтет полезным прибегнуть к вашей опытности. Итак, господа...

— Виноват, господин полковник, если я

позволю себе еще раз прервать вас, — заявил фон Конов. — Допрос ведь окончен?

— Одного подсудимого — да.

— А другой, пока несколько не оправится, очевидно, не может быть допрошен. Стало быть, все, что можно было пока дознать, нами дознано. Но достаточно ли собранных улик, чтобы, по долгу совести, произнести справедливый приговор? В чем все наши улики? В том, что этот молодой человек возмнил себя новым Икаром, приделал себе так же восковые крылья и полетел за море, но так же, как древний Икар, слишком близко подлетел к солнцу, опалил себе крылья и кувырком упал в море. Ужели же мы навесим еще бедняге камень на шею!

— Камень или петлю — обязательно! — подхватил с азартом де ла Гарди, который не мог дождаться конца аллегорической речи фон Конава.

— Простите, господин майор, — остановил его председатель. — Вы желали только присутствовать при судоговорении... Нет, нет, не уходите! Сидите, сделайте милость. Только сдерживайте немного ваш темперамент. Так

что же нам делать, по-вашему? — обратился он к великодушному защитнику русских.

— Мое мнение, — отвечал фон Конов, — осмотреть прежде всего вещи обоих подсудимых, хотя между ними, вперед ручаюсь, ничего подозрительного не найдется.

— Лучше не ручайтесь, — сказал Опалев, нетерпеливо барабанил по столу пальцами. — А далее что же?

— Далее следовало бы все-таки выждать, пока очнется и будет в состоянии дать показания камердинер господина маркиза...

— Самозванного, да. Вы, майор фон Конов, раз приютив у себя этого самозванца, считаете уже вашим священным долгом отстаивать его во что бы то ни стало. Это делает честь вашему сердцу, но в данном случае каждый из нас должен быть не столько сердобольным человеком, сколько примерным солдатом, а солдат, подобно стали своего штыка, своей сабли, должен быть тверд и непреклонен телом и духом.

— И разить сплеча, без разбора и правых, и виноватых — благо подвернулись?

— Вы забываетесь, майор фон Конов! —

вспыхнул председатель.

— Прошу извинить меня, господин комендант. Но и над солдатом есть высший — Божий суд. А в столь темном деле, как настоящее, где от случайного большинства голосов pro или contra зависит жизнь и смерть двух ближних, по всей видимости вовсе не злонамеренных, а просто легкомысленных, — я полагаю, не может быть теперь же постановлен по совести правильный приговор.

— Так что же нам делать, по-вашему, с подсудимыми?

— Я предложил бы, впредь до собрания более весомых улик, обоих взять под арест, а все обстоятельства дела препроводить в Стокгольм на уважение верховного военного совета.

Предложение фон Конова вызвало между его товарищами оживленные прения, но в конце концов оно восторжествовало с той модификацией, что ради большей верности вместо простого ареста подсудимые должны были быть заключены в казематы цитадели. Для своего гостя, впрочем, фон Конову удалось выговорить одно облегчение: чтобы его

не заковали в железо.

Происходили прения, разумеется, на шведском языке, и поэтому Иван Петрович, стоявший по-прежнему перед своими судьями по ту сторону стола, оставался в неизвестности относительно своей участи, пока председатель неизменно учтиво, но сухо не объявил ему о решении суда.

— Обещаетесь ли вы, mein Herr, — прибавил он, — честным словом дворянина — не делать никаких попыток к побегу?

— А если нет? — вскинулся Спафариев.

— Тогда не взыщите, придется надеть на вас наручники, приковать вас к стене.

— Но я — дворянин!

— Вот потому-то вам и предлагается такая льгота. «Сила соломѹ ломит», — вздохнул про себя Иван

Петрович и, скрепя сердце, дал требуемое «слово дворянина».

— Суд удовлетворяется вашим словом, — сказал Опалев. — На всякий случай, однако, предвараю вас, что выбраться из наших казематов немыслимо, так как, кроме тюремного сторожа, который будет приносить вам пищу,

при казематах установлен постоянный усиленный караул. За сим, господа, объявляю заседание закрытым.

Сам комендант, по-видимому, был доволен сентенцией суда, которой с него лично слагалась дальнейшая ответственность по этому, как выразился фон Конов, «темному делу». Один только де ла Гарди, потерпевший столько от русских «шпионов» и приложивший столько стараний к поимке одного из них, был разочарован и ушел, ни с кем не простясь, брюзжа и кляня весь свет.

А куда же, спросят читатели, делась главная улика — самодельный план калмыка?

Он был в сохранности. Когда Лукашка, истекая кровью, причалил у Смоляной пристани, из последних сил дополз до ближайшего костра русских смолокуров и начал Христом Богом умолять их куда ни есть его припрятать, те, запуганные недавней нещадной расправой шведов с одним из их земляков, подозревавшимся в измене, стали гнать его вон:

— Уходи, милый человек, уходи с Богом, проваливай!

— Да куда же ему уйти, братцы? Нешто он

может идти? Совсем его, вишь, горемычного, размочалило! — вступился старый смолокур, седенький старичок, наклонясь над распротертым на земле калмыком. — Ахти! Да ведь он совсем, поди, кончается.

— Смерть моя пришла... — прошептал Лукашка, у которого в ушах уже зазвенело, в глазах круги пошли, и, ослабевшею рукою кое-как достав из-за пазухи свой план, он сунул его старику. — А вот, дедушка... спрячь, спрячь...

— Отдать кому, что ли?

— Да... царю... Петру...

Тут нагрянул майор де ла Гарди; но план был уже за пазухой старика-смолокура. Оттого-то у беглеца при обыске никаких улик и не отыскалось.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

*Не дожидаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни будто годы;
И окно высоко над землей,
А у двери стоит часовой.
Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки.
Лермонтов*

Хотел ли полковник Опалев оказать своему Хродовитому арестанту последнюю формальную любезность или же просто желал лично убедиться, что стены и затворы каземата достаточно надежны, но он собственной персоной проводил Спафариева до места его заточения.

Впереди шел тюремный сторож с фонарем и связкою ключей, за сторожем — Иван Петрович, за Иваном Петровичем — комендант, а за комендантом — трое конвойных с заряженными, конечно, «фузеями». Когда они таким образом спустились во подполье цитаде-

ли и массивная железная дверь, тяжело ухая, раскрылась перед нашим арестантом, из мрака подземной кельи пахнуло на него такой подвальной затхлостью, таким могильным холодом, что он невольно содрогнулся, отшатнулся.

— Ну, что же? Прошу, — сухо сказал комендант с пригласительным жестом. — У нас, не взыщите, не парижский отель с номерами в разную цену: всем заключенным одна цена, один почет. А вот и ваша постель.

При слабом мерцающем свете фонаря Спфариев разглядел в стороне, у кирпичной стены, на земляном полу сноп свежей соломы и брошенный на него старый арестантский халат. Изнеженного европейским комфортом молодого человека невольно покорило.

— Но как же лечь так?.. — пробормотал он. — У меня нет с собой даже нужнейшего из моего ночного гардероба, из туалетных вещей...

— Туалета вам ни для кого здесь не придется делать.

— Но это мое дело!

— Ваше, но вещи арестантов у нас выдают-

ся им не ранее как по предварительном осмотре и с разрешения подлежащей судебной власти.

— Уж не ждать ли мне разрешения из Стокгольма? Опалев пожал плечами.

— Что касается всех вообще пожитков ваших — да. Относительно же туалетных принадлежностей я, пожалуй, могу еще возбудить вопрос у нас в военном совете, хотя не обещаю вам успеха. Впрочем, — прибавил он в виде утешения, — у нас они несомненно будут сохраннее, чем здесь: не испортятся, по крайней мере, от сырости.

— Ничего мне от вас не нужно! — буркнул Иван Петрович с юношеским упрямством и задором.

— Ничего? И прекрасно: хлопотать меньше. Белья смену, впрочем, получите. А за сим — доброй ночи.

И свет фонаря погас, железная дверь стукнула, ключ в ржавом замке дважды хрустнул, и мерные шаги коменданта и конвойных удалились.

«Доброй ночи!» Да, ночь охватила его, глубокая, безрассветная: ни зги не видать, ды-

шать нечем... «Как есть, заживо погребен. Со святыми упокой! Правду сказал комендант: здесь, в этом сыром каменном гробу, хоть какая вещь испортится, сгноится — и человек тоже! Ведь еще август месяц, а что будет здесь в октябре, в ноябре, в крещенские морозы? Обратишься в ледяной столб... Нечего сказать, перспектива!.. Но не вечно же стоять этак на ногах; хоть бы сном забыться...»

Расставив вперед руки, чтобы не наткнуться на стену, Иван Петрович шаг за шагом направился к тому месту, где было указано ему давеча ложе. Вот оно... Брезгливо отбросив в сторону арестантский халат, которым невесть кто уже прикрывался, он рассыпал сноп соломы по земляному полу так, чтобы лежать хоть было сухо, вместо одеяла постлал сверху свой дорожный плащ, а вместо подушки — свой запасной носовой платок.

«Ну, а насчет гардероба какую диспозицию учинить? Есть же тут какая-нибудь мебель».

Ощупью вдоль стены он двинулся на разведку и, точно, нащупал небольшую скамью и рядом стол. Сложив на стол шляпу и парик, а на скамью верхнее платье, он возвратился к

своей постели, чтобы наконец растянуться и накрыться плащом. На беду модный, довольно короткий парижский плащ не был приспособлен служить и одеялом. Спафариев подтянул под себя ноги, но прикрыть их как следует ему не удалось, и его понемногу начала пронимать дрожь.

«И зачем было так глупо отказываться наотрез от всего! Кое-что потеплее все бы пригодились. Ну, да нет так нет, и толковать нечего. Где ж этот противный старый халатишко? Хоть бы ноги-то укутать. Благо темно, не видать этой мерзости».

Приподнявшись на локоть, он стал шарить рукой кругом себя по полу.

«Земля, слизистая земля! Даже досок не подостлали, скверनावцы! Да где же он? Fi!»

Благодаря старенькому, но ватному халату, по телу арестанта вскоре разлилась благотворная теплота.

«И вовсе не так уж дурно! — рассуждал он сам с собою. — Лежать этак на свежей соломе ничем не хуже, пожалуй, чем на перине, в известном отношении даже аппетитней: никто раньше не лежал, прямо с поля. В деревне,

помнится, еще мальчуганом тоже этак валялся, бывало, на скирдах соломы, — славные были времена! Правда, что колется и щекотит, но зато так здорово пахнет и заглушает затхлый запах подземелья. Дышать-то холодно-ва-то: изо рта, вероятно, пар идет, но, по уверению медиков, в нетопленных горницах спать куда здоровее. И за весь плезир-то этот ни гроша медного, ни даже простого спасибо. Благодетели, да и только! Любопытно знать, однако, чем продовольствовать станут? С голода, понятно, не уморят: и самых отъявленных душегубов-разбойников ведь откармливают до высшей ступени их земного бытия, — как это поется в народной песне?

*Исполать тебе, детинушка, кре-
стьянский сын,
Что умел ты воровать, умел от-
вет держать!
Я за то тебя, детинушка, пожа-
лую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с пере-
кладиною.*

Гм, да, не крестьянский я сын — дворян-

ский сын. Ну, а ежели и меня тоже пожалуют такими хоромами? Благодетелей моих на это станет. Бр-р-р! Даже мурашки по спине пробегают. Ну, да что заранее загадывать. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Поживем — увидим: *qui vivra — verra*. А теперь возьмем-ка да заснем».

Как видят читатели, герой наш был в некотором роде философом. Он с решительностью повернулся лицом к стене, натянул на себя халат до пояса и отогнал преждевременные мысли о «высшей ступени бытия». Пять минут спустя он спал беззаботным крепким сном юности.

И приснился ему дивный сон: в компании фон Конова и других шведских офицеров, на конях и с гончими переправясь на пароме на Лосиный остров, он из-под носа своих компаньонов бил одного лося за другим — хлоп да хлоп. Фон Конов затрубил ему в медный рог победный туш, остальные же компаньоны с криками «*hip-hip-hurra!*» подхватили его, победителя, с земли и понесли на плечах своих к высокому, обитому пурпуром королевскому амвону; а там, на золотых тронах, королем и

королевной восседали полковник Опалев и дочка его фрёкен Хильда. Король милостиво приветствовал его похвальным словом, а королева, вся зардевшись от смущения, с прелестной улыбкой наклонилась к нему, чтобы возложить ему на голову свежий венок из дубовых листьев, махровых роз, гиацинтов и тюльпанов.

Так как обязанность будить своего господина лежала всегда на Лукашке, а последнего не было теперь налицо, то Иван Петрович еще долго, быть может, витал бы в области несбыточных сновидений, если бы глухой стук отворяемой железной двери каземата не возвратил его к трезвой действительности.

Было, конечно, давным-давно утро; на дворе, очень может статься, светило опять солнце. Но сквозь маленькую решетчатую отдушину под сводчатым потолком в подземелье пробивалось света ровно настолько, чтобы убедиться в крайней убогости окружающей обстановки: среди голых кирпичных стен известные уже нашему арестанту деревянные, самой топорной работы стол да скамья, на черном земляном полу — собственная его со-

ломенная постель, да над изголовьем — вделанная в стену железная цепь, к которой он, без сомнения, был бы прикован, если бы не дал своего дворянского слова — не бежать. И только!

Впрочем, в данную минуту в камере было еще одно живое существо — вошедший сейчас тюремный сторож, а в руках у него — глиняный кувшин с водою да краюха ржаного хлеба.

— Это что же — мой арестантский паек? — спросил Спафариев — сперва по-русски, потом по-немецки, наконец по-французски.

Флегматичный чухонец недружелюбно, только исподлобья взглянул на вопрошающего и отодвинул на столе в сторону парик и шляпу арестанта, чтобы очистить место для кувшина и хлеба.

— Что же ты, болван неотесанный, воды в рот набрал? Аль не понимаешь простой людской речи?

Тот, словно уже не слыша, повернул обратно к двери.

— Стой! — громовым голосом крикнул ему вслед Иван Петрович, вскакивая на ноги.

Молчаливый финн остановился на пороге и с тем же хмурым видом, вопросительно оглянулся.

— А мыться?

Изображенная при этом операция мытья была настолько наглядная, что тюремщик ткнул пальцем на кувшин с водой.

— А мыло где ж? А полотенце?

Та же картинная мимика; в ответ же ей только отрицательное мотание головой — и дверь уже захлопнулась за молчальником.

«Вот и здравствуйте! Ушел ведь, как будто так и быть следует. Народится же этакое иродово племя! Ну, да и господа-то его хороши: не дать своему брату, образованному европейцу, принять человеческий образ! Хоть бы Лукашку-то ко мне пустили... Ah, mon Dieu! Забыл ведь совсем, что его подстрелили: где-то он, бедняга? Жив ли еще? Злодеи! Скорпионы! Аспиды! Изверги рода человеческого!..»

И, отводя таким манером душу, европеец наш принялся собственноручно придавать своей особе «человеческий образ» с помощью тех скудных средств, которые имелись у него под рукой: умылся без мыла; вместо поло-

тенца обошелся запасным носовым платком; с непривычки довольно неумело расчесал гребешком завитки парика и возложил его на себя; стряхнул пыль, облекся в камзол и кафтан; в заключение опрыскал себе обе ладони из флакончика возможно экономно духами.

Тут только вспомнилось ему, что ни вчера перед сном, ни нынче со сна он не помолился Богу.

«Господи, прости Ты меня!»

Он огляделся в камере на все четыре угла, но напрасно: ни образа, ни распятия. «Безбожники!»

Сняв с себя свой грудной образок и прислонив его у изголовья к стене, он опустился перед ним на колени (не на голый земляной пол, конечно, а на солому) и прочел подряд три-четыре известные ему молитвы, заученный им еще в детстве от богомольной старушки-няни. Давно не молился он так истово, и когда прочел еще вторично «Отче наш», на душе у него заметно полегчало.

«До сего дня Господь хранил меня, грешного; значит, на что-нибудь я ему да годен. Чего же вперед отчаиваться? Шато хоть не шато, а

сверху, по крайности, не каплет».

Повеселевшим взором он обвел свою мрачную неприютную келью. На глаза ему попались кувшин с водой и краюха хлеба.

«А вчера-то я себе голову ломал, чем меня угощать станут? — усмехнулся он. — Угощение, правда, не лукулловское, но по квалите своей самое что ни есть натуральное, завещанное нам от прародителей: хлеб насущный да влага чистая. Что ж, не побрезгаем, заморим червячка».

«Заморив червячка», то есть скушав кусочек черствого хлеба и запив его глотком водички, он фертom прошелся взад и вперед по своей камере.

«И для променажа места как раз сколько нужно».

Он сделал воздушный пируэт и затянул игривый парижский романсик.

Не допел он, однако, и второго куплета, как в железную дверь снаружи раздался гулкий удар как бы ружейным прикладом.

«Это еще что за новости? В своих четырех стенах и петъ не смей? Стучи, mon cher, стучи — самому надоест».

И, заложив в карманы руки, он продолжал свой «променаж», продолжал свою песенку еще громче прежнего.

Но закончить ее ему не пришлось: перед ним вдруг как из-под земли выросли тюремщик и часовой. Первый сердито стал что-то объяснять ему на своем несуразном языке, а второй, в виде иллюстрации, сделал такой угрожающий жест «фузеей», что не могло быть сомнения: грубый мужлан не пулей, так прикладом заставит его замолчать.

— Ну, и ладно! Нельзя, так нельзя. Будем знать. Аудиенция кончена, синьоры! Проваливайте!

Он повелительно указал им на выход и повернулся к ним спиною. Вполголоса потолковав еще меж собой, те вышли. Тогда он возобновил свою прогулку, но уже не запел, а тихонько про себя засвистал: не все ли-де едино? Не других же ведь потешаю, а себя.

Молодой человек бодрился, сам с собою лукавя, и бодрости этой у него хватило ровно до обеденного часа. Тут барский желудок, избалованный обильными и отборными яствами французской кухни, настойчиво заявил свои

права. Увы! взамен тонких и замысловатых супов и соусов, майонезов и фаршей, к услугам его имелась все одна и та же прародительская пища: хлеб да вода.

«Неужто ж так-таки больше ничего и не пришлют? Живодееры! Гунсвоты! О-хо-хо!»

Хотя хлеб с утра еще более очерствел и жевать его не представляло уже ни малейшего «плезира», но вскоре от него не осталось ни корочки.

«А на ужин, стало быть, только воздух да вода? И какой воздух: хоть топор повесь! Авантажное супе! Благодарю покорно! Лучше уж идти к Морфею: авось во сне хоть накормит».

Но время сна еще на наступило: Морфей не рассыпал еще своих снотворных зерен, а с подземного коридора доносились, не умолкая, то приближающиеся, то удаляющиеся шаги часового. Равномерно-монотонные, как маятник, они нагоняли неодолимую досаду и скуку. Когда же к ночи они наконец смолкли, на смену им явился жестокий, поистине уже волчий голод, а досада перешла в глухое раздражение.

«Нет, долее терпеть эту пытку сил нет! Во что бы то ни стало надо объясниться с комендантом. Но как дозваться его? Ведь страж этот — пень, чурбан бессловесный. Одно средство — избить его на чем свет стоит. Как донесет по начальству, — хошь не хошь, вспомнят. Тут уж не до политесов и реверансов. *A la guerre comme a la guerre*». На войне по-военному.

Придя к такому благому решению, Иван Петрович разом успокоился и тут же задремал.

Поутру, разбуженный стуком отворяемой двери, он вскочил с ложа, схватил вместо оружия скамейку и бросился навстречу ничего не чаявшему «пню и бессловесному чурбану». Но руки его сами собой опустились: кроме порционного ломтя хлеба и большого кувшина с водой, тюремщик, оказалось, принес ему еще кринку поменьше, полотенце и мыло. Когда же Спафариев при свете фонаря заглянул в кринку, то увидел там белую, пузыристую жидкость.

— Эге! Молоко, да никак еще парное? Давай-ка, брат, сюда, давай.

И, не отнимая от губ, он выпил духом половину кринки, потом полотенцем обтер губы. Тут случайно на глаза ему попался вышитый край полотенца.

«Чья это метка? Две сплетенные монограммой литеры под дворянской короной „Я“ да „О“. Очевидно: „Hilda Opaleff“. Вот оно что!»

— Фрёкен? — спросил он сторожа, указывая на метку. Тот приложил ко рту палец и издал змеиный шип:

— П-ш-ш-ш!

«Значит, без ведома строжайшего папеньки? Как есть благодетельная сказочная фея!»

Ветреник наш был искренне тронут мягкосердием девочки, не убоявшейся ради него даже гнева родительского, и более знаками, чем словами, постарался внушить тюремщику, чтоб тот передал фрёкен душевную его признательность. Но в ответ ему угрюмый финн прошипел только опять свое:

— П-ш-ш-ш!

А на следующее утро, кроме тех же двух кувшинов да хлеба, он доставил арестанту еще ночник и какую-то книгу.

— Каково? И духовная пища? Опять фрё-

кен?

— П-ш-ш-ш! — повторил безгласный страж свой единственный звук и, засветив ночник от огня фонаря, тотчас удалился.

Иван Петрович раскрыл книгу.

«Так и есть: евангелие, и притом немецкое, потому что шведского мне все равно бы не понять. Этакая милая, умница, право!»

Но когда он отвернул заглавную страницу, чтобы узнать, чья эта собственность — самой ли фрёкен Хильды или ее тетки, что ли, — то поневоле поморщился и проворчал про себя:

— Sapristi!

В правом углу страницы стояло четким конторским почерком: «N einrich Frisius».

«К жениху обратилась! Но как он-то, заклятый враг „варваров-скифов“, одолжил ей свое евангелие для такого варвара? Или, может быть, она вовсе не говорила ему, для чего ей понадобилось? Ну, понятное дело, не говорила!»

И омраченные черты молодого узника снова прояснились.

Глава вторая

«Стук... стук... стук!..»

Тургенев

*И ждут окованные братья,
Когда же зов услышат твой,
Когда ты крылья, как объятья,
Прострешь над слабой их главой?
О, вспомни их, Орел полночи!
Хомяков*

Второй месяц уже томился Иван Петрович в Ниеншанцском каземате. Если в первые дни счастливый темперамент облегчал ему переносить свое тяжелое положение в сыром и темном подземелье на хлебе и молоке (потому что молоко, притом парное, поставлялось ему по-прежнему каждое утро), то духом он заметно упал, и гробовая тишина кругом уже редко когда нарушалась его свистом. Полотенцем и мылом, кринкой молока и немецким евангелием ограничилось пока все участие к нему фрёкен Хильды, от которой затем не было уже ни слуху ни духу.

Особенно тягостно было для него, человека

светского и общительного, его полное одиночество. Вот уже никак шесть недель (он дням и неделям даже счет потерял) ни с кем-то живым словом не перемолвился! Мудрено ли этак и совсем одичать, от человеческой речи отвыкнуть; а там, того гляди, в черную меланхолию впадешь, в тупоумную хандру, от которой нет возврата...

И меланхолия, в самом деле, начала уже подкрадываться к нашему живому мертвецу, когда другой такой же мертвец нежданно-негаданно подал ему голос.

Почти единственные звуки, достигавшие извне в глубину каземата, были отдаленные шаги часового, прохаживавшегося взад и вперед по подземному коридору. От этого вечно-го безмолвия слух нашего арестанта необычайно наострился. И вот однажды от противоположного конца камеры донесся к нему как бы легкий стук в стену. Спафариев настоярожился: и то, стучат!

«Неужто Лукашка?» — пронеслось у него в голове, и сердце в нем шибко забилося.

Подойдя к тому месту, откуда исходил, казалось, стук, он так же осторожно постучал

пальцем в стену. Чужой стук повторился коротким двойным ударом — как бьют на кораблях часы или «склянки».

«Очевидно, Лукашка! Но почему он до сей-то поры молчал? Или его сейчас только перевели сюда, в казематы?»

Ответа на эти вопросы до времени, конечно, не могло быть; но чтобы и у калмыка не было сомнений, что с ним говорит его господин, Иван Петрович отвечал также «склянкой».

«Но как бы такую коммуникацию завязать, чтобы и разуместь друг друга? Господи, Господи, просвети меня! Быть в такой близости, на каких-нибудь четверть аршина всего от преданного тебе человека и не иметь возможности в простую конверсацию вступить, обменяться хоть единым словом».

Смышленный калмык, однако, разрешил уже, оказалось, мудреную задачу. Сперва он начал стучать обыкновенным способом: ударил раз, потом подряд два раза, за этим три, четыре и так далее до двенадцати раз. После того он изменил прием: застучал двойным стуком — морской «склянкой», точно так же с

расстановкой, раз, два и так далее до двенадцати раз. После короткой паузы стук его усложнился: за одним простым ударом следовала одна морская «склянка», за двумя простыми ударами две «склянки», за тремя три и так далее также до двенадцати. На этом дальнейший стук прекратился.

«Что бы это значило? Верно, не даром? — соображал Иван Петрович. — Каждым из трех манеров он стучал по двенадцати раз. Трижды двенадцать — тридцать шесть... Ага! Вот что: в азбуке русской — тридцать шесть букв; значит, на каждую букву по определенному стуку. Сейчас испробуем, так ли? Но, чего доброго, еще спутаешься в счете. Первым делом, стало быть, смастерим себе наглядный алфавит».

За бумагой для алфавита дело не стало: в немецком евангелие Фризиуса под переплетом, в начале и в конце, имелось по чистой страничке.

«Но где раздобыть инструмент для письма? А веник-то на что же?»

По настоянию, должно быть, все той же заботливой фрёкен Хильды тюремный сторож

по временам подметал камеру русского арестанта, веник же оставлял там же, в углу. Теперь веник сослужил арестанту и другую, еще более важную службу. Выдернув из него прут, Иван Петрович накопил его на дымящемся ночнике, вырвал из книги последний чистый листок, своим первобытным пером разграфил его на семьдесят две клеточки и нацарапал вниз свою новую азбуку, которую для большей ясности мы представляем здесь также нашим читателям:

Простые стенные звуки в этом незамысловатом букваре изображены точками, а «склянки» — черточками. Имей Спафариев под рукой настоящее гусиное перо и настоящие чернила, он изготовил бы свой букварь, конечно, гораздо быстрее. Но самодельное «веничное» перо у него то и дело притуплялось, и чуть не для каждой буквы ему приходилось обгрызать его, чтобы заострить кончик; точно так же и «чернила» беспрестанно иссякали, и для каждой буквы надо было обмакивать перо в чернильницу, то есть коптить вновь на ночнике. Вдобавок от спешки и

волнения перо дрожало в руках; раз оно даже переломилось и пришлось заменить его новым. А Лукашка в своей камере, не получая от соседа никакого отклика, снова застукал.

— Стучи, стучи! Подождешь, — бормотал тот про себя, сам сгорая нетерпением поскорее покончить со своей кропотливой работой.

Наконец-то алфавит был готов и можно было без дальнейших уже проволочек приступить к связному разговору.

«А ну, как то все же не Лукашка? — взяло тут Спафариева опять сомнение. — Сейчас узнаем».

Сперва простучал он с расстановкой три буквы первого слова: К (одиннадцать простых звуков), Т (семь «склянок») и О (три «склянки»); потом четыре буквы второго слова: Т (семь «склянок»), А (один простой звук), М (одну «склянку») и Ъ (три простых и три «склянки»).

Невидимый собеседник, заранее, видно, обдумавший и разучивший свою азбуку, не замедлили с ответом:

«Я, Лукашка».

Теперь уже не оставалось никаких сомне-

ний, и от наплыва неудержимой радости узник наш так звонко свистнул, что проходивший в это время по коридору часовой остановился и загрохотал в дверь прикладом.

Иван Петрович притих и прижал руку к бурно бьющемуся сердцу, чтобы оно, чего доброго, не выскочило из груди. Никогда-то ему и в голову не приходило, чтобы Лукашка, этот «смерд» и «раб», мог быть ему так дорог. А теперь, в эту минуту, он полюбил его вдруг почти как брата и от избытка братских чувств бросился бы, кажется, к нему на шею.

Выждав, пока часовой отойдет от двери, он возобновил прерванный «стенной» разговор с калмыком:

«Здравствуй, Лукаш».

«Здравствуй, милый барин, — был ответ. — По здорову ли?»

«Мерси, душа моя. А ты?» «Жив и здоров. Да вот плачу». «О чем?»

«Безмерно уж рад...»

И барин должен был провести ладонью по глазам: у самого у него веки были мокры. Но, не желая выдавать свою чувствительность, он перешел на деловую тему:

«Ты, Лукаш, говоришь, что здоров: но ведь ты был ранен?»

«Да, в правую ногу. И бестии собаки маленько потрепали».

«Ну, и что же?»

«Да ничего; милостью Божией все зажило».

«А пуля?»

«Вынута».

«И кость не тронута?» «Нет, целехонька».

«И слава Богу! Так ты, видно, все время в госпитале пролежал?»

«Точно так. Вечор только выписан». «Из рая да в ад?»

«Был бы в аду, кабы тебя, сударь, по соседству не было. А с тобой везде рай».

«Словно суженой своей в сантиментах изъясняешься! Однако от стучанья у меня пальцы совсем разболелись. Да и спать пора».

«Пора, сударь. Храни тебя Бог!»

Диалог по числу слов был, кажется, вовсе не долог, а между тем взял времени несколько часов, потому что каждое слово требовало целой серии разнообразных стуков, и с непривычки беседующим приходилось не раз

выстукивать вторично одну и ту же непонятную собеседником букву, а то и целую фразу.

На следующее утро выхоленные барские пальцы Ивана Петровича от вчерашнего стучания оказались до того распухшими, что для «конверсации» надо было приискать другое, менее чувствительное орудие. Выбор был очень не велик: скамья была слишком тяжеловесна, кувшин слишком хрупким, жестяной ночник также не выдержал бы долго, да и издавал бы предательский металлический звук. Оставался опять-таки один только веник, из которого Иван Петрович и выдернул для своей цели самый толстый прут. Очистив его от листьев и сучков, он обуглил его еще с толстого конца на огне ночника, чтобы придать ему большую твердость. «Молоток» вышел на славу: не ударяя слишком гулко, он в то же время благодаря угольной оболочке уже не ломался и мог служить хоть годы.

«Ты, сударь, чем стучишь-то?» — спросил Лукашка, тотчас расслышавший новый звук.

«Прутом от веника, — отвечал Иван Петрович. — Пальцев жаль. И тебе бы сделать то же».

«Рад бы, да к стене прикован. А ты, барин, разве на свободе?»

«В четырех стенах — да».

«Верно, слово дворянское дал не бежать?»

«Дал».

«И сдержишь?» «А то как же?» «Эх, сударь!»

«Ты, братец, плебей, так и не смыслишь». «Не смыслю, правда твоя. Сам-то я при первой оказии стрелка дам».

«Да ведь ты же на цепи?»

«Подпилю».

«Чем?»

«А гвоздем: из госпиталя унес». «Ну, гвоздем не подпилишь».

«Трудненько, тем паче, что ржавый; да гвоздь-то не простой, чудодейственный: из мертвых меня воскресил: так и тут авось службу сослужит».

«Как так воскресил?»

«А так. Лежал я на больничной койке бок о бок с чухной-солдатом. Разговорились мы с ним...» «Это по-каковски?» «По-ихнему». «По-чухонски?» «Да».

«Где же ты их тарабарщине обучился?»

«А там же на койке. В шесть-то недель, коли ты не совсем дубина, хоть обезьяний язык переймешь».

«Тебя-то, точно, мозгами Господь не обидел. Ну, и что же, разговорились?»

«Разговорились, подружились. Пил же он вместо лекарства самодельную настойку — воду невскую, на гвоздях настоянную: много в телесной хворости помогает».

«И он же одолжил тебе один гвоздь?»

«Один одолжил, а другой про всякий случай я сам взял и припрятал. Тебе-то, батюшка-барин, как живется-можется?»

«Сибаритствую».

«Не на сухоядении?»

«Нет, дают к хлебу и кринку парного молока, но секретно от коменданта».

«Кто ж эта женерозная душа? Майор фон Конов?»

...«Сказать аль нет? — подумал про себя Иван Петрович. — Нет, материя слишком деликатная, на что ему знать!»

«Должно быть, фон Конов, — простучал он в ответ. — Окроме телесных авантажей, я пользуюсь еще и духовными: у меня есть

евангелие».

«Вот как! Православное?»

«Нет, немецкое, но содержание-то все одно: жизнь и слова Христовы».

«Но как же ты читаешь во тьме крошечной?» «А у меня ночник горит».

«Так ты, сударь, подлинно как сыро в масле катаешься! Ну, да всякому свое по рангу: у тебя молочко, а мы сыты крупицей, пьяны водицей, ржавым гвоздем приправленной».

«Тебе бы, брат, гвоздем своим в стену стучать: хоть пальцы свои тоже поберег бы».

«Это верно-с. Благо, подкладка в халате оборвалась: обвернем гвоздочек в лоскуточек, чтобы не истерся, да и не так слышно было».

Приведенный разговор занял у беседующих, с небольшими перерывами, также чуть не целый день. Но времени им не занимать было, и день, по крайней мере, пролетел незаметно. С этих пор Иван Петрович не боялся уже впасть в меланхолию от полного одиночества: было все же с кем мыслями поделиться. Но животрепещущие темы у них довольно скоро истощились и оставалось только обмениваться жалобами на томительную скуку

одиначного заключения.

В середине ноября серое житье-бытье их на короткий миг расцветилось.

«Исайя, ликуй! — простучал однажды слуга своему господину. — Я тоже вольная птица».

«Тебя выпускают?» — спросил Иван Петрович.

«Нет, но я снял с себя кандалы».

«Подпилил?»

«Подпилить не подпилил, а кольцо разогнул». «Поздравляю, братец: можешь хоть тоже променировать по своему подземному паллацо». «И поискать лазу».

«Куда же ты полезешь? Дверь на запоре...»

«А как-нибудь оседлаю нашего придворного тафельдекера и кофишенка».

«Осла-тюремщика? Да и из крепостных ворот тебя все равно не пустят: схватят и тут же на воротах вздернут».

«Выеду-то я на ослике моем, вестимо, не с парадной музыкой и в карьер, а тихомолком курц-галопом и, даст Бог, доберусь-таки до наших аванпостов».

«А того вернее в лесную трущобу, где с хо-

лода да с голода сгибнешь: ведь зима уж на дворе». «Значит, колесо фортуны!»

«А я тем часом без тебя с тоски еще с ума спячу, либо ножки протяну!»

«Что ты, милый барин! Коли так, то, видно, беда мне. До весны уж потерплю, останусь при тебе».

И он остался. Но чего стоило бедняге это решение — отказаться от манившей впереди полной воли, — господин его мог судить по минорному тону и односложным ответам калмыка. Иван Петрович жалел его, но жалел и себя: пребывание под землею становилось с каждым днем невыносимее. Хотя с наступлением холодов казематы по временам и протапливались с коридора, но подземные печи, должно быть, давно не поправлялись, потому что не столько грели, сколько немилосердно дымили, и у арестантов после каждой топки головы трещали. А вдобавок от печного тепла обледеневшие стены выпускали накопившуюся в них влагу, которая ручьями стекала на заключенных.

Понемногу и Иван Петрович, ободрившийся было с соседством Лукашки, начал опять

падать духом. Зимой все проезжие пути, конечно, занесло снегом, и военные действия между шведами и русскими сами собой должны были прекратиться. Стало быть, до весны царя Петра Алексеевича и не жди в Ниеншанц; а дотянут ли они оба еще до весны всю зиму-зименскую в своем могильном склепе?

Глава третья

*Чу! за белой, душной тучей
Прокатился глухо гром;
Небо молнией летучей
Опоясалось кругом...
Тютчев*

*Но вдруг неожиданный
Надежды луч,
Как свет багряный,
Блеснул из туч.
Полежаев*

Три месяца уже герой наш не имел никаких вестей из надземного мира и постепенно пришел к горькому убеждению, что и бывший гостеприимный хозяин его, майор фон Конов, забыл про него, — когда тот неожидан-

но навел на него в каземате.

— Простите, *mon cher monsieur*, — были первые слова фон Конова, — что столько времени не заглядывал к вам; но сейчас после вашего ареста я был командирован в Краков к нашему королю и только вчера поутру возвратился оттуда. Сегодня я воспользовался первой свободной минутой, чтобы узнать, не нуждаетесь ли в чем...

— О, помилуйте! Что человеку еще нужно в этих роскошных палатах? — не без горечи отозвался Иван Петрович и, взяв со стола ночник, осветил им во все углы своего неприятного жилья. — Извольте видеть, тут у меня все: и приемная, и гостиная, и столовая, и спальня, и кабинет — все вместе, необычайно удобно! А темноты и духоты, холода и сырости — сколько душе угодно: хоть сейчас ложись помирай. Господин комендант, грех сказать, заботится о нас, заключенных, как отец родной!

На благородном и ясном челе шведского офицера выступили глубокие складки.

— Радикально изменить заведенные здесь раз порядки, разумеется, не в моей власти, —

серьезно проговорил он. — Но против холода и сырости можно будет принять некоторые меры. Хлеба вам, по крайней мере, надеюсь, доставляют в достаточном количестве?

— Голодной смертью, пожалуй, не помру, хотя не ручаюсь: досыта я ни разу еще не наедался.

— Ну, для вас лично мне, может быть, удастся выхлопотать увеличенную порцию. Относительно предоставления вам и другого рода пищи я имел вчера довольно крупный разговор с комендантом. Но он у нас, знаете, большой формалист и ни для кого не допускает изъятий из общих правил.

При этих словах фон Конов случайно заглянул в стоявшую на столе кринку с молоком, и лицо его осветилось довольной улыбкой.

— Эге! Да у вас тут молоко? Каков комендант-то! Ни словом ведь не обмолвился: устыдился своего послабления.

— Это не комендант... — замялся Иван Петрович. — Комендант даже, кажется, не подзревает...

— Ну, так и я тоже ничего не видел, ничего

не знаю! Вы, мосье, пожалуйста, не считайте нас, шведов, какими-то вырожденками рода человеческого. Но законы войны у нас, потомков древних норманских викингов, львов севера, суровее, чем где-либо на юге Европы. Недаром и государственный герб наш изображает прыгающего льва. Не наша вина, согласитесь, что вы попали к нам.

— В львиную пасть? — подхватил Спафариев. — Впрочем, теперь-то я уже не в пасти, а в желудке и могу вас честью заверить, что в желудке этом вовсе не уютно.

— Я с удовольствием вижу, мосье, что прежний юмор не совсем еще покинул вас.

— О-хо-хо! Юмор мой, как выражаются немцы, висельный — Galgenhumor.

— Но он вас все-таки несколько поддержит до лучших дней. Все ведь мы и ваш покорный слуга колодники, но волочим на ногах незримые оковы!

И фон Конов подавил тайный вздох.

— Вы, господин майор, говорите о лучших днях, — продолжал Иван Петрович. — Стало быть, в моем положении есть поворот к лучшему?

— Как вам сказать, дорогой мой?.. Особенно утешительного мало. Судебное следствие о вас, как нам уже известно, препровождено в Стокгольм. Но там не пришли к какому-либо окончательному решению...

— За недостатком улик?

— Не смею вам сказать. Словом, признано было нужным иметь по вашему делу указания свыше. Король же наш в настоящее время, как вы знаете, в Польше, на походе, и ему теперь, конечно, не до нас с вами.

— Так что дело мое ему до сих пор, пожалуй, вовсе и не доложено?

— Когда я уезжал из Кракова, оно только что лишь поступило в походную канцелярию его величества. Сообщение между Швецией и остальной Европой, а также и Ниеншанцем в зимнюю пору так затруднено, что решения вашего вы дождетесь, очень может статься, не ранее открытия навигации.

— Когда меня давно уже зароят на вашем здешнем кладбище! — с сердцем подхватил наш арестант.

— Ну, нет, любезнейший, с вашим цветущим здоровьем вы проживете еще мафусаи-

лов век! — успокоил его добряк-швед, приятельски похлопывая его по спине. — А такая временная диета после парижских фестивалов вам и вашему плуту камердинеру может быть даже очень полезна. Кстати, Люсьен совсем уже оправился от своей раны.

— А! Сердечно рад, а то я все тревожился за него. И где же он теперь, бедняга?

— Да которую уже неделю переведен из госпиталя сюда же, в казематы. О нем я также позабочусь. Не имеете ли вы, мосье, еще что-нибудь просить меня?

— Имею... Во-первых, все ли здесь, в Ниеншанце, в добром здоровье?

Фон Конов с недоумением уставился на вопрошающего.

— Эге-ге! — догадался вдруг по замешательству, с которым молодой русский опустил перед ним взор. — Вы, верно, интересуетесь почтеннейшей сестрицей нашего коменданта, фрёкен Хульдой? Могу вас утешить: она, как всегда, в вожделенном здравии.

— И... племянница ее тоже?

— Племянница? Что вам до чужой нареченной?

— Да так, знаете...

— По человеколюбию?

— М-да...

— Она тоже, кажется, здорова. И чего вы краснеете, друг мой? Дело доброе: тетушка давным-давно ждет уже суженого, и рука ее, слава Богу, еще свободна.

— А скоро свадьба?

— Почем мне знать, на чем вы с нею порешили?

— Нет, без шуток, господин майор: когда свадьба фрёкен Хильды? — не отставал Иван Петрович, которого безобидное подтрунивание фон Конова еще пуще вогнало в краску.

Тот лукаво погрозил ему пальцем.

— Молодой человек, ах, молодой человек! Впрочем, в таком одиночном заключении надо тешиться хоть несбыточными мечтами. И потому до времени вы можете спать спокойно: по настоянию самой фрёкен Хильды свадьба ее отсрочена до мая месяца. Хе-хе! Смотрите-ка, как юноша наш вдруг пионом расцвел! Ну-с, это было во-первых. А во-вторых?

— Во-вторых... Вы, господин майор, наде-

юсь, не сочтете этого государственной тайной...

— Что именно?

— А то, насколько успешны были в последнее время здесь, на Неве, действия моих земляков, русских, против вас, шведов?

Лицо балагура-майора сделалось разом опять серьезным, и он окинул любопытствующего подозрительным взглядом.

— Вам сторож ваш, верно, что-нибудь уже выдал? — проговорил он.

— Ей-Богу, ничего: он же финн, лопочет только на своей тарабарщине и за четверть года времени, кроме «п-ш-ш-ш!», я не слышал от него ни одного членораздельного звука.

— И никто другой за все это время не навестил вас в каземате?

— Ни единая живая душа. Впрочем, виноват: не так давно заблудился ко мне глупый мышонок, но, убедившись, видно, что с меня взятки гладки, тотчас опять откланялся. Так что же, господин майор, наш царь Петр? Уж не одержал ли он над вами победы?

Швед, нахмураясь, медлил с ответом.

— Да чего же вы стесняетесь? — еще на-

стойчивее приступил к нему молодой русский. — Ведь весь Ниеншанц, без сомнения, уже знает, в чем дело. И я, когда меня выпустят отсюда, тотчас узнаю. Но когда-то это будет? Может быть, через полгода? А до тех пор томись неизвестностью! Будьте же великодушны, войдите в мое сиротское положение: сижу я, как крот, вот уже четвертый месяц под землей, понятия не имею о том, что творится у вас там наверху, на свете Божьем. А от вас одних пока между всеми шведами, могу по совести сказать, я видел вполне беспристрастное, человеческое отношение ко мне. Ужели же вы не будете так же человечны до конца? Или же я чем-нибудь навлек на себя теперь вашу немилость?

— О нет...

— А коли нет, так почему бы вам не ободрить несчастного доброй весточкой? Вас оттого ведь не убудет? Я прекрасно понимаю, что вам, как шведскому патриоту, это нелегко. Но вот я каждое утро час-другой читаю евангелие и многие страницы знаю уже наизусть. Вам, как истинному христианину, конечно, неизвестно также основное учение наше-

го общего Христа Спасителя: «Любите врагов ваших». Утешьте же врага! Лично ведь ни вы мне, ни я вам не враг, мы — люди-братья...

Слова нашего русского задела в благородном сердце шведа самую отзывчивую струну — братское чувство.

— Вы слышали, мосье, разумеется, про нашу крепость Нотеборг? — с видимой неохотой начал фон Конов.

— А по-нашему Орешек? На Ладогe, при истоке Невы? Как не слышать: некогда ведь она принадлежала новгородцам. Так что же?

— Царь Петр осадил и... взял ее. Спафариев набожно перекрестился.

— Слава Всевышнему! Баша чудесная новость искупает все, что я вытерпел здесь до сегодня! Позвольте, господин майор, братски расцеловать вас!

— Хорошо, хорошо... — говорил фон Конов, высвобождаясь из непрошенных братских объятий.

— Но как же, скажите, государю удалось-таки взять эту сильную крепость? — продолжал допрос свой Иван Петрович. — Раз начали, так и закончите, не томите, Бога ра-

ди!

Немного помолчав, как бы раздумывая, тот приступил к обстоятельному рассказу:

— В сентябре месяце окольный ваш Апраксин успел укрепиться на берегах реки Назьи, верст тридцать от Нотеборга, возвел там кронверк с барбетами и рвом... А в двадцатых числах прибыли в его лагерь царь Петр из Архангельска и фельдмаршал Шереметев из Пскова. Оттуда они двинулись на Нотеборг; причем, слышно, за неимением лошадей всю артиллерию везли на людях. Из Онежского озера рекою Свирью между тем провели к ним в Ладогу изрядное число больших беломорских лодок — карбасов. А когда наши батареи из Нотеборга да из небольшого шанца, который мы наскоро возвели на другом берегу Невы, стали их обстреливать, чтобы не пропустить их в Неву, русские прибегли к хитрости: до полусотни судов проволокли сухим путем через лес и топь с Ладоги в Неву, посадили на них команду в тысячу человек, переправились на тот берег к шанцу и...

— И взяли его? — досказал Иван Петрович,

слушавший рассказчика с затаенным дыханием.

— Взяли...

— Без выстрела?

— Н-нет... после залпа.

— После одного залпа?

— Да...

— Ай да молодцы! Знай наших! Простите, господин майор! Но вы поймете мои чувства. А самая крепость-то в это время была уже в осаде?

— Да, к ней делались русскими апроши и устанавливались против нас орудия. Когда же первого октября взят был на том берегу наш шанц, Шереметев тотчас прислал к нотеборскому коменданту Шлипенбаху трубача с письмом...

— Почему же Шереметев, а не сам государь?

— Потому что царь ваш поставил себя под начальство фельдмаршала и сам числится у него только бомбардирским капитаном.

— И что же стояло в том письме?

— Чтобы крепость сдалась, так как пути к ней отовсюду отрезаны. Но Шлипенбах, по-

нятно, без разрешения высшего начальства не смел принять предложения и просил отсрочки на четыре дня, чтобы снестись с начальником своим, генералом Горном, в Нарве.

— И чтобы оттуда тем временем подоспел сикурс? Расчет тонкий! Но Шереметев, конечно, не поймался на удочку?

Фон Конов вспыхнул и насупился.

— У Шлипенбаха едва ли была такая задняя мысль, — сказал он. — За самовольную сдачу своей крепости он, как комендант, подлежал бы полевому суду.

— Так что же отвечал ему фельдмаршал?

— Отвечал он залпом из всех орудий и не прекращал бомбардировки до самого приступа.

— А! Так наши тогда же пошли на приступ?

— Нет, Шлипенбах храбро держался еще почти целых две недели, хотя от русских бомб город внутри не раз загорался и положение жителей было самое отчаянное. На третий день госпожа Шлипенбах, супруга коменданта от себя и от имени всех офицерских жен

отправила к Шереметеву барабанщика с письмом, умоляя выпустить их из горящего города, но напрасно.

— Как? Шереметев, этот известный дамский галан, не склонился на дамскую просьбу?

— Он-то, может быть, и склонился бы. Но, на беду их, Шереметев был, говорят, в отлучке, в обозе, и за него отвечал сам царь, бывший в то время на батареях. Отвечал не по-европейски, признаться, а чисто по-солдатски, шутливым отказом: он-де, капитан Преображенского полка бомбардирской компании, не желает попусту времени терять посылкой той петиции к фельдмаршалу в обоз, ибо вперед ведает, что фельдмаршал не пожелает «опечалить их разлучением», а буде все-таки хотят выбраться из города, так «изволили б и любезных супружников вывести купно с собою»[10].

— Да, царь Петр Алексеевич у нас тоже юморист и не прочь при случае отпустить крепкую шутку, — заметил Иван Петрович. — А на штурм, говорите вы, он повел своих только через две недели?

— Да, одиннадцатого октября. Ранним утром, скоро после полуночи, от ваших бомб в городе опять загорелось. Пожар все разрасстался, так что для потушения огня коменданту пришлось многих защитников отозвать от крепостных стен. Этим-то и воспользовались русские, чтобы штурмовать крепость. Но лестницы их на полторы сажени не доставали до стен, а бреши, которые между тем пробиты были русским ядрами в двух башнях и в куртине, защищались гарнизоном так отчаянно, что ваши охотники несколько раз отступали с большим уроном. Бой на жизнь и смерть длился ровно тринадцать часов, пока одна половина гарнизона не была перебита, а другая изнурена до упада. Вам, мосье, я полагаю, едва ли доводилось присутствовать при таком бое?

— К сожалению, не имел случая.

— Не сожалейте! Нападающие, озлобленные упорным сопротивлением, обращаются в кровожадных диких зверей, а храбрые защитники при виде неминуемой гибели превращаются в подлых трусов и совершенно теряют голову, как безначальное стадо баранов.

Довольно одному из них крикнуть «Спасайтесь! Сдаемся!», чтобы в общей панике все побросали знамена и оружие. Кто кидается стремглав с вала в глубокий ров и тут же тонет, кто бежит без оглядки куда глаза глядят, а кто и прямо навстречу врагам и молит о пощаде... Позор, позор!

Перед внутренним взором фон Конова, должно быть, восстала воочию описываемая им постыдная картина, потому что, понутив голову, он замолк.

— И комендант Шлипенбах в конце концов сдался? — прервал Спафариев его тяжелую думу.

— А что же ему оставалось? Он выслал царю Петру свои акордные пункты. И царь отнесся к побежденным, надо сознаться, довольно снисходительно, без дальнейших разговоров подписал акорд, а два дня спустя уцелевший гарнизон мог беспрепятственно удалиться из крепости сюда, в Ниеншанц, с четырьмя пушками, с распущенными знаменами, с барабанным боем и с пулями во рту.

— «Лежачего не бьют», наша русская половица, — вставил Иван Петрович.

— А я так думаю, что царь хотел только отдать этим последнюю дань нашей храбрости! Сам он, кажется, был бесконечно рад своему первому крупному успеху. Передают такой каламбур царя: «Зело жесток сей орех был, однако, слава Богу, счастливо разгрызен». Впрочем, он не оставил уже крепости прежнего русского названия Орешек, а переименовал ее в Ключ-город, — Шлиссельбург и собственноручно прибил ключ к крепостным воротам.

— Так он, верно, считает эту крепость ключом к Балтийскому морю, а стало быть, и в Европу?

— Должно быть, что так. Но в этом он сильно ошибается! — воскликнул фон Конов и затуманенный взор его загорелся огнем. — Ключ к морю — здесь, при устье Невы, в Ниеншанце, но Ниеншанца нашего мы ему никогда не отдадим, и мимо мы его точно так же никогда не пропустим.

— Так вы, дражайший мой, не знаете еще царя Петра! — возразил Иван Петрович. — Начав что-нибудь, он уже на полпути, поверьте мне, не остановится. Да вот что, ради смеха, хотите, побьемтесь об заклад: не пройдет го-

да, как Ниеншанц будет в русских руках.

Черты шведа опять омрачились.

— Такими вещами, мосье, не шутят, — промолвил он дрогнувшим голосом. — Дай мы русским в самом деле стать твердой ногой на Балтийском берегу, мы этим самым уступили бы им половину нашей политической роли в Европе. Да что теперь попусту спорить! Не нам с вами, милый мой, вершить судьбы Европы.

— А царь наш, скажите, теперь все еще там же, в Нотеборге... то бишь в Шлиссельбурге?

— Нет, он вернулся, слышно, зимовать в Москву, в крепости же оставил губернатором своего любимца Меншикова.

— А Нева когда у вас вскрывается ото льда?

— Иногда уже в конце марта, но чаще в средних числах апреля.

— Ну, так в середине апреля непременно ждите к себе — если не царя, так Меншикова с визитом из Шлиссельбурга!

Восторженная уверенность молодого русского в своего царя если и не поколебала ве-

ры шведского офицера в силу ниеншанцских батарей, то задела его несомненно за живое.

— Добро пожаловать! Но встретим мы непрошенных гостей уже не шведской бовлей, а шведской картечью! — промолвил он, гордо вскидывая голову; затем, как бы уже нехотя, протянул заключенному руку: — Однако пора! Если я в ближайшее время не навещу вас снова, то так и знайте, что я в отлучке: мне, вероятно, очень скоро придется ехать опять с депешами в Варшаву. Будьте здоровы!

Надо ли говорить, что тотчас по уходе фон Конова обо всем слышанном от него Иван Петрович поспешил передать через стену своему камердинеру. И как же оба воспрянули духом! Ведь теперь их манила впереди вполне сбыточная надежда — вырваться на свет и на воздух из своего ненавистного гроба. А благодаря, конечно, настоянию фон Конова, и самое пребывание их в гробу стало несколько сноснее: сырой земляной пол около их постелей был устлан обоим досками, обоим была подостлана свежая солома, а господину, сверх того, была доставлена подушка (набитая, впрочем, не перьями, а сеном) и совершенно

новый арестантский халат. Наконец, обоим же была увеличена на половину арестантская порция хлеба.

В рождественский сочельник молчаливый тюремщик внес в келью Ивана Петровича маленькую елочку, усаженную десятком восковых свечей и увешанную разными сластями: яблоками, медовыми пряниками, гирляндой из изюма и золотыми орешками. Это, очевидно, было уже не от фон Конова, который со времени единственного своего визита как в воду канул. (Как оказалось впоследствии, он действительно был вновь командирован к королю Карлу XII и до конца апреля там задержан.)

— Фрёкен? — спросил Спафариев сторожа.

Тот угрюмо покосился только на арестанта, прошипел свое неизменное «п-ш-ш-ш!» и оставил его опять одного. Что маленькая фрёкен все же помнит об нем, не могло, разумеется, не тронуть Ивана Петровича. Когда же он зажег на нарядной елочке свечки, тогда в могильной атмосфере подземелья распространился аромат смолистых елочных игл и воска, — одиноком молодому человеку неска-

занно вдруг взгрустнулось и на глаза его навернулись слезы. А тут тоненькие свечки уже догорели, и могила его погрузилась в прежнюю безотрадную темноту...

Какая-то безотчетная, вовсе необычная у него застенчивость не позволила ему поделиться с Лукашкой своей грустной радостью, впустить его, непосвященного, в святая святых своего сердца. Точно так же и четыре месяца спустя, в двадцатых числах апреля месяца следующего 1703 года, он ни словом не намекнул своему слуге о том, что сторож доставил ему душистый букет первых весенних фиалок, который арестантом нашим был не только поднесен к носу, но и прижат несколько раз к губам.

Зато еще немного дней — и оба одновременно застучали друг к другу в стену. Да и было от чего: сверху, из надземного мира, донесся к ним глухой, громовой гул, от которого врытые в землю стены казематов в основах своих задрожали. А вот еще и еще.

«Слышишь, Лукаш? — спросил господин. — Ведь это царь наш бомбардирует Ниеншанц!»

«Он! Он! — отвечал слуга. — Это его царский клич. Теперь-то нам грех не откликнуться. У меня уже сложен некий гексенмейстерский прожектец — поджечь цитадель, а самим в суматохе бежать».

«Ничего из твоего прожекта не выйдет!»

«Почему?»

«Потому что я его не одобряю».

«Но ты выслушай сперва, сударь...»

«И слышать не хочу. Покуда я еще твой господин и с моего согласия ты ни на ком здесь, в цитадели, волоска не тронешь».

«Из-за маленькой фрёкен?..»

«Молчать! И как бы охотно я сам ни выбрался из этой проклятой ямы, но в слове своем я тверд и буду ждать: рано ли, поздно ли, государь нас все равно вызволит».

«Но меня-то, голубчик барин, по крайности, не держи».

«Да на что тебе торопыга?»

«Ну, не сидится, да и визнаю хоть там, как да что. Благослови, сударь, пусти!»

И барину в конце концов ничего не оставалось, как «благословить» торопыгу.

Глава четвертая

*Влез коню в одно ушко, вылез в другое и
сделался таким молодцом, что и бра-
тьям не узнать! Сел на коня и поехал.
«Сказка про Сивку-Бурку»*

По требованию своего господина вынужденный отказаться от одной части своего «тексенмейстерского прожектца» — поджечь цитадель, Лукашка тотчас приступил к исполнению другой части: нарвал из парусинной подкладки своего арестантского халата несколько полос и свил из них крепчайшую веревку. Но этим пока и ограничились все его приготовления к побегу. Хотя он мог свободно снимать со своей ноги цепь, которой его приковали к стене, но выбраться за дверь своей камеры ему, во всяком случае, нельзя было ранее следующего утра, когда к нему должен был войти опять тюремщик.

Чтобы как-нибудь не проспать, калмык всю ночь почти глаз не сомкнул и долго еще до урочного часа был на ногах; сгреб солому на постели удлиненной кучей наподобие ле-

жачего человека и сверху накрыл ее халатом; после чего принялся шагать взад и вперед по каземату, то хмурясь, то лукаво про себя ухмыляясь и выделявая руками и ногами такие необычайные движения, что посторонний наблюдатель мог бы счесть его либо за свихнувшегося с ума, либо за клоуна. А дело было просто в том, что по-прежнему гудевшая над головой его канонада не давала ему ни прилечь, ни присесть, и почва горела у него под ногами.

Наконец-то по наружному коридору слышалась знакомая шаркающая поступь увальня сторожа и загревели ключи... Лукашка отскочил к стенке около двери и притаился. Он явственно чувствовал, как сердце в нем толкается в ребра.

Массивная железная дверь тяжело растворилась и так же тяжело опять затворилась. Войдя со света в полупотемки подземелья, тюремщик, естественно, принял лежавшую на постели, накрытую халатом, неподвижную массу за спящего арестанта. Поэтому он преспокойно направился к столу. Но едва только он сбыл с рук каравай хлеба и кувшин

с водой, как был схвачен за горло и повален ничком на постель.

— Не взыщи, дружище, но чуть ты пикнешь, так я тебе цепью башку размозжу, — говорил вперемежку по-фински и по-русски Лукашка, коленкой прижимая ему спину, а пятерней так крепко стискивая ему горло, что бедняга даже захрипел. — Минуточку терпения, душенька, — продолжал калмык, свободной рукой свертывая комок соломы. — Ишь ты, каторжный! Чего голову-то гнешь, что кобыла к овсу? Ну, так. Открой-ка ротик, но чур — не кричать!

Сторож, человек еще не дряхлый, но болезненный и тщедушный, хорошо понимал, видно, что с отчаянным молодым парнем ему все равно не сладить, и покорно дал заткнуть себе соломой глотку.

— Теперь, королевич мой, разоблакивайся. Да ну тебя, поворачивайся, что ли! Некогда мне с тобою бобы разводить.

Разоблачатся в таком положении — лежа на животе да с здоровым парнем на плечах — была задача далеко не легкая. Но при помощи Лукашки она была-таки наконец решена.

— Не бойсь, голубушка, не замерзнешь: сейчас одеяльцем накроем. Локти назад!

Скрутив ему самодельной веревкой локти, калмык свободным концом той же веревки хорошенько привязал его к висевшей над постелью цепи и накинул на него свой арестантский халат; затем сам живой рукой нарядился в казенную форму тюремщика, с которым был приблизительно одного роста, нахлобучил себе на брови его засаленную треуголку и вооружился его тюремными ключами.

— Ну, jumaа haltu! (Храни тебя Бог!)

И, последним прощальным взглядом окинув мрачное подземелье, в котором он изнывал более полугода, он осторожно толкнул дверь и с оглядкой вышел в коридор. Пушечные выстрелы долетали сюда еще слышнее и отвлекли, должно быть, из казематов дежурного часового, по крайней мере, его нигде не было ни видеть, ни слышать.

Замкнув за собою на всякий случай дверь ключом, Лукашка взял не налево, где светилась выходная лестница, а направо по коридору, где лежала камера его господина.

Со времени своего заключения в каземате Спафариев поневоле совершенно изменил прежний образ жизни. Большую часть дня он проводил лежа в полудремотном состоянии на своей постели и просыпался поутру довольно рано, — может быть, отчасти и потому, что под утро пустой желудок начинал слишком настоятельно заявлять о своей пустоте. Так-то и в описываемое утро Иван Петрович поднялся спозаранку и не без удовольствия прихлебывал к арестантскому хлебу свежего молока, когда услышал в дверном замке какой-то странный хруст, словно кто-то снаружи хотел да не умел попасть ключом в скважину замка.

«Подвыпил, что ли, патрон мой, аль со страха руки трясутся? — подумал он, сердито оглядываясь на дверь, которая теперь со скрипом растворилась. — И чего ему еще нужно?»

А тот, как всегда шаркая по земле и хрипло покашливая, приблизился к нашему арестанту и отдал ему по-солдатски честь.

— Huwa raiwa, herra! Mita kulu? (Здорово, сударь! Как поживаешь?) Хлеб да соль.

Тут только при слабом мерцании ночника

Иван Петрович пристальнее взгляделся в лицо вошедшего и с радостным криком вскочил со скамьи.

— Pardieu! Lucien! Ты ли это или двойник твой?

— Двойник-с. Подлинный Люсьен все еще тут, рядом на цепи и за тремя замками, — отвечал калмык, почтительно целуя руку барина.

Но Иван Петрович обнял камердинера и накрест трижды облобызался с ним.

— Этак-то лучше, — сказал он. — Но я тебя, братец, в толк не возьму: коли ты двойник Люсьена, то кто же подлинный?

— А наш тафельдекер. Больно уж ему моя арестантская хламида приглянулась. По старой дружбе я уступил ее ему да кстати уж и самого на цепь посадил.

Спафариев громко расхохотался.

— Ах ты, шут гороховый! Без проказ ни на час.

— П-ш-ш-ш! — зашипел на барина Лукашка шипом тюремщика. — Ты сударь, маленько полегче закатывайся, у стен есть уши.

— Что уши-то есть — не беда, — понижая

голос, отозвался Иван Петрович, — а что и язык есть — вот горе. Да чего ты это кафтан-то сымаешь?

— А чтобы и тебе было во что обрядиться. Сам-то я как-нибудь проскочу: где прыжком, где бочком, где ползком, а где и на карачках.

— Спасибо тебе, Лукаш, но все одно как ваша братия от крестного целования не попятится, так и наш брат дворянин от своего дворянского слова.

— Да ты, сударь, хоть бы взглянул на себя, совсем, поди, извелся тут на арестантских харчах!

— А мне это только к авантажу: тем стройнее в талии стану.

— Ну, милый барин...

— Отстань, змий искуситель! Plus un mot! (Ни слова более!)

— В рай за волоса не тянут! — покорился камердинер. — А меня, стало, на убег благословляешь?

— Да ведь тебя все равно не удержишь? Только рожей ты в нашего тафельдекера не вышел: бородку себе отпустил.

— А с нею мы в момент покончим. Борода

ли ты моя бородушка, краса ли ты моя молодецкая! — с комическою кручиной вздохнул он, проводя ладонью по подбородку, где пробивалась юношеская курчавая поросль. — Не цвести тебе с цветочками весенними, расцветешь, даст Бог, с цветочками осенними!

И, взяв со стола горящий ночник, он решительно поднес его к своему подбородку.

— Что ты делаешь?! — успел только вскрикнуть Иван Петрович.

Но дело было сделано: борода вспыхнула, а вслед затем пламя было уж потушено рукою, — «красы молодецкой» как не бывало.

— Фу! И начади́л-то как, — говорил, морща нос, успокоившийся барин. — Разве не горячо? Ведь вон, смотри: весь подбородок себе опалил, пузыри даже вскочили!

— Да, тепленько было, — с невозмутимой веселостью отвечал опаленный. — Зато на небритого тем паче схож.

— Да по лицу тебя все же сейчас узнают.

— А чтобы не опознали, загримируемся. На домашних спектаклях ты, сударь, бывало, не раз ведь малевал актеров. Так послужи, размалюй меня!

— Без кисти и красок?

— За этим дело не станет.

Живо скатав из мякиша лежавшего на столе хлеба мазилку, Лукашка накоптил ее на дымящемся ночнике и затем преподнес своему господину:

— Voila, monsieur!

— Попытаемся, — сказал Спафариев. — Да чего ты еще стоишь-то? Садись и глазом не моргни.

Привычною рукой он стал расписывать лишенное теперь своей растительности лицо камердинера. Через пять минут круглолицый юноша-калмык превратился в морщинистого брюзгливого финна.

— Кажись, похож, — не без самодовольства заметил художник, отступая на шаг назад, чтобы лучше обозреть свою работу.

— Paljon kitoksi, huwa herra! (Покорно благодарю, добрый господин!) — процедил сквозь зубы Лукашка, кряхтя, как бы с болью в пояснице, приподнялся со скамейки и забренчал ключами.

— Как есть наш тафельдекер, две капли он! — потешался Иван Петрович. — Ну, с Бо-

гом!

— А не будет ли мне от твоей милости на дорогу какого поручения?

— Нет, ничего... Впрочем, да: если бы тебе случилось встретить фрёкен Хильду... Но ты вряд ли ее встретишь...

— Да не она ли уж благодетельница твоя, а не майор фон Конов? — тотчас догадался сообразительный калмык. — От нее, небось, и ночник, и евангелие, и молоко парное?

— От нее, — отвечал господин и, чтобы как-нибудь скрыть свое смущение, кивнул на кринку с молоком. — Не хочешь ли отведать?

— Не откажусь, чай, и вкуса уже на знаю. За здоровье глаз, что пленили нас!

Приложившись к кринке, Лукашка не отнимал ее от губ, пока совсем ее опрокинул.

— Вкуснее, поди, шампаней! Так поблагодарить, значит, и доложить, что навела, мол, тоже сухоту на сердце молодецкое?

— Перестань вздор болтать! — резко и нахмурясь перебил Спафариев. — Поблагодари за все: и за елку, и за фиалки...

— За елку?

— Ну да, в рождественский сочельник мне

доставили елку, а третьего дня прислали вот этот букет фиалок.

— А я в потемках-то, прости, и не углядел, — сказал Лукашка, бережно беря в руки лежавший на столе, уже завядший букетец. — Сердце сердцу весть подает.

— Оставь, не тронь! — сердито прикрикнул на него Иван Петрович, вырывая у него из рук драгоценный букет. — На людях, дурак, смотри, тоже не брякни!

— Дурак-то я дурак, да все же не круглый. И ее-то, голубушку, жалко: тоже, поди, в разлуке мочит подушку горячими слезами.

Барин притопнул даже ногою на неутомонного.

— Замолчишь ли ты наконец, болтун и пьеро! Скоро ли уберешься?

— Так отдать только поклон и из двери вон? А дверь-то я на всяк случай не замкну: авось, все же не утерпишь взаперти. Jumala haltu, herra!

Глава пятая

Ой, батюшки! тону, тону! Ой, помогите!

Хемницер

Да здравствует царь! Кто живет на земле,

Тот жизнью земной веселись!

Но страшно в подземной, таинственной мгле...

Шиллер

На крепостном дворе тем временем шла легкая перебранка между комендантской судомойкой и дежурным вестовым: последний возвращался только что с крайнего бастиона, куда отрядила его фрёкен Хульда для доклада ее братцу-коменданту, что frukost (завтрак) на столе, когда судомойка с двумя пустыми ведрами загородила посланному дорогу и потребовала, чтобы он сейчас же принес с Невы свежей воды.

— Сама, небось, сходишь! — огрызнулся нелюбезный воин. — Пропусти, что ли.

— Не пропущу! Ты — человек военный, те-

бе-то русские пули нипочем. А я — беззащитная женщина...

— И дура! Русские доселе еще ни одного выстрела не сделали. Мы одни палим.

— Чего же они зевают?

— «Чего!» У них, глупая, траншеи против нас еще не все подведены, да орудия не наставлены. Мы вот пальбой им и докучаем. Ну, отойди от греха!

И, оттолкнув в сторону трусиху, он пошел далее.

Та, видимо, еще колебалась, спуститься ли ей самой к реке или нет, как вдруг кто-то из-за спины выхватил у нее оба ведра.

— Ишь ты, медведь косолапый! Тоже раз услужить хочет, — проворчала судомойка, с недоумением глядя вслед мнимому тюремному сторожу, который, по обыкновению, хрипло покашливая, заковылял уже с ее ведрами к крайнему бастиону.

Бастион был окутан пороховым дымом, и потому Лукашке удалось прошмыгнуть беспрепятственно мимо самого коменданта, только что наставлявшего орудийную прислугу, как направлять прицел. Но тут внезап-

ным порывом ветра откинуло назад дымное облако, и стоявший около коменданта фенрик Ливен случайно глянул вниз на тюремщика, спускавшегося по откосу. Несмотря на всю мастерскую гримировку калмыка, его типичный монгольский профиль и скошенные глаза не могли не остановить внимания Ливена. Не обладая, однако, особенно быстрой сообразительностью, простоватый фенрик старался еще уяснить себе странное сходство этого увальня-солдата с сидящим в каземате плутом-камердинером русского маркиза, — как Лукашка добрался уже до воды.

Беглец наш надеялся воспользоваться опять комендантскою лодкой, но горько ошибся в расчете: лодка была вытащена на берег по случаю ладожского ледохода. Середина Невы была почти свободна ото льда, но вдоль берега широкой полосой двигалась почти сплошная масса рыхлых, полупрозрачных льдин. Крепостной ров, правда, был уже очищен от ледяной коры (без сомнения, по особому распоряжению коменданта, чтобы воспрепятствовать русским перебраться в цитадель по льду), и решительный калмык не

затруднился бы окунуться в ледяную воду, чтобы добраться вплавь на ту сторону рва; но, на беду его, контрэскарп (противоположный откос рва) был возведен совершенно отвесно, так что взобраться на него из воды было немыслимо. Оставался единственный путь — по ладожским льдинам.

Фенрик Ливен раскидывал еще в уме, заявлять ли господину коменданту об озадачившем его необычайном сходстве, как был еще более поражен дальнейшим поведением загадочного солдата: тот вместо того, чтобы зачерпнуть воды в ведра, поставил их наземь, трижды по-русски наскоро перекрестился и вдруг прыгнул на ближайшую льдину, а там на следующую...

В голове Ливена разом просветлело: «Надо вернуть арестанта». И он со всех ног бросился в погоню. Обстоятельства ему благоприятствовали: откос на углу контрэскарпа был настолько крут, что вскочить туда со льдины не было возможности, и Лукашка, благополучно миновав ров, должен был пробежать по льдинам еще несколько шагов до более плоского берега. Но здесь длинноногий фенрик нагнал

уже его и поймал за локоть:

— Стой!

Лукашка рванулся вперед, нога его при этом сорвалась с рыхлой льдины, и он очутился по пояс в воде, припертый к берегу льдиной.

— Сдавайся! — крикнул, ликуя, Ливен и наклонился, чтобы схватить арестанта за шиворот.

С этого момента обстоятельства приняли другой оборот. Чтобы выбраться на сушу, калмыку не доставало только точки опоры. Такою-то точкою послужила ему теперь протянутая к его шее рука фенрика. Крепко потянувшись за нее, ловкий Лукашка вскочил опять на льдину, а с нее на берег. Ливен же, напротив, потерял равновесие и сам угодил между двух льдин по горло в воду.

— Сдавайтесь, господин фенрик! — заликовал теперь в свою очередь Лукашка.

Фенрик наш был не только весьма усерден по службе, но и храбр. В бою один на один с врагом он, вероятно, не моргнул бы и глазом. Но здесь не было борьбы: надо было беспресловно либо тонуть, либо сдаться. А молодая

жизнь была ему еще так дорога!

— Сдаюсь, — прошептал он посиневшими губами, простирая к стоявшему на берегу врагу с мольбою руки.

— И обещаетесь следовать за мною?

— Обещаюсь...

— Честным словом шведского офицера?

— Да, да...

— Ну, так *horrr-la!* Прошу идти вперед, а я за вами.

— Ливен! — донесло к ним ветром с крепостного вала гневный окрик коменданта.

Но Ливен даже не оглянулся, потому что то был уже не прежний, вечно довольный собой, улыбающийся Ливен: ледяная вода стекала с него ручьями, и сам он насквозь окоченел. Низко понуря голову, он еле плелся впереди калмыка к русским траншеям.

А здесь царские саперы, подводившие к Ниеншанцу «апроши» (осадные рвы и насыпи, под прикрытием которых осаждающие исподволь подвигаются к крепости), диву давались: на кой ляд тащатся к ним эти два безоружных шведа — офицер и солдат? Когда же последний, к вящему их изумлению, замахал

в воздухе треуголкой и рывкнул во всю глотку совершенно чисто по-русски: «Да здравствует царь Петр Алексеевич!», — одна из высунувшихся из-за насыпи усатых голов нашла нужным задержать подходящих:

— Стой! Чего вам?

— А вот, братцы, военнопленного привел, — отвечал Лукашка.

— Да ты сам-то кто будешь?

— Я — русский, убегом убег сейчас из цитадели да царю вот свеженького гостинца с собой прихватил.

Из траншеи послышался смех.

— Что же он, вольною волей пошел за тобою?

— Таращилась нитка, да игла за собой потянула.

— Шут полосатый! А аммуниция-то на тебе зачем шведская?

— Затем, что иначе не выбратся бы оттоле. Одначе оба мы сейчас маленько искупались, цыганский пот прошиб: дайте, кормильцы, обогреться, обсушиться!

— Пустить их к нам, что ли, братцы? — совещались те в траншее. — Аль за началь-

ством послать?

— Сбегай-ка кто за генералом. А ты, милый, потерпи да Расскажи-ка нам, каково-то жилось тебе у них в цитадели?

— Каково живется в арестантских шелках-бархатах, на арестантских калачах? Удрал бы без оглядки хоть к черту на рога. Как вылез я оттоле на свет Божий, так чаял, что очи у меня от яркого света лопнут, что свежим воздухом задохнусь, захлебнусь...

— Генерал! — пронеслось тут по траншее, и в конце ее, действительно, показалась сухая, высокая фигура шефа царских саперов, инженер-генерала Ламберта.

Он начал было также с допроса Лукашки; но тот в своей промокшей одежде, на свежем ладожском ветру, подобно Ливену, уже дрожмя дрожал и стучал зубами.

— Ну, тебе, я вижу, не до ответов, — сказал Ламберт. — Отведи-ка его с полоненником к костру, пускай пообогреются, а я схожу доложу государю.

Костер пылал жарко, потому что полковыми кашеварами варилась на нем неизменная солдатская каша. Врожденное нашему про-

столюдину христианское сердоболие сказало-сь и здесь: обоим — и своему, и врагу — были предложены сухое платье, горячая пища, глоток забористой сивухи их походной манерки. Переменить одежду Лукашка счел пока излишним: промочив себе только нижнюю половину тела, он мог сейчас обсушиться у огня. Зато из манерки он хлебнул за двоих; после чего попросил воды да мыла, чтобы смыть с лица намалеванные морщины, и затем уже с такой волчьей жадностью накинулся на солдатскую кашу, «с пылу горячую», что язык себе обжег.

Не то фенрик Ливен: охватившее его давеча малодушие в виду неминуемой смерти уступило чувству острой обиды, когда суровый русский генерал не удостоил его даже вопроса, а молчаливым жестом указал ему только, чтобы он шел за калмыком к солдатскому костру. На сделанное ему здесь предложение накинуть на плечи солдатский кафтан, хоть отведать каши, молодой швед высокомерно вскинул голову, словно русским платьем, русскою пищею он осквернил бы себе тело и уста, и, скрестив на груди руки, сдви-

нув брови, остался стоять неподвижно в нескольких шагах от костра.

— Молодо-зелено! Кажись, не забираем, — говорили солдаты. — Гордыбачество да брыкливость надоть бы по боку.

Губы фенрика болезненно перекосились.

— Никак ведь понял? Сейчас, поди, разругается, скорбит, бедняга! — вполголоса продолжали толковать меж собою незлобивые враги. — Ну, да была бы честь предложена, а от убытка Бог избавил.

Лукашка тем временем уплетал кашу за обе щеки и с полным ртом едва успевал отбояриваться отрывочными ответами от сыпавшихся на него со всех сторон вопросов.

— У брюха нет уха, — сказал он, насытись наконец и отирая рот. — В нутре моем даве ровно кто на колесах ездил, а теперича тишь да гладь, музыка одна. И пошло у вас и пища знатные. Спасибо, кормильцы!

И он приступил к связному повествованию своих злоключений, когда внезапная катастрофа разом оборвала его рассказ.

Глава шестая

*«За дело, с Богом!..» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь как Божия гроза.
Пушкин*

*Я с повинной головою,
Царь, явился пред тобою.
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить!
Ершов*

До сих пор неприятельские снаряды без вреда перелетали через лагерь русских. Но понемногу, видно, приноровившись, шведы стали целиться вернее, и одна граната их со светящимся фитилем прогудела так низко над головами солдат, скучившихся у костра вокруг калмыка, что все они, как по команде, а с ними и Лукашка, отдали ей земной поклон. В следующее мгновение граната, шипя, врылась позади них в землю, и ее с оглуши-

тельным треском разорвало на сотни осколков.

Беспечный говор и смех сменились болезненными воплями и стонами раненых. Пострадало четверо: трое русских нижних чинов и бедный фенрик Ливен.

Заботу о первых трех, раненных менее тяжело, предоставив их товарищам, Лукашка бросился к молодому шведу, которому осколком ядра раздробило правую руку ниже локтя и который от сильной потери крови тут же лишился сознания. Не имея под рукою никаких приспособлений, чем бы унять кровь, бившую фонтаном, калмык без долгих рассуждений сорвал с одного из кашеваров его холщовый фартук и наскоро перевязал руку раненого. Владелец фартука хотел было протестовать, так как за казенное добро ему-де перед начальством отвечать придется, но Лукашка успокоил его обещанием взять всю ответственность на себя.

Между тем слух о печальной оказии пронесся по всему лагерю, долетел и до царской палатки. Вслед затем из палатки показался сам царь Петр в сопровождении генералитета

и лейб-медика Арескина.

В последний раз Лукашка видел государя в Москве — разумеется, только издали — года четыре назад.

Тогда Петр выглядел довольно стройным молодым человеком. Теперь ему подходил тридцать первый год жизни, и атлетическая фигура его, с высокой грудью, широкими плечами, сформировалась и в могучей красоте своей могла служить любому ваятелю самой совершенной моделью для статуи Геркулеса. Но сидевшая на этих геркулесовых плечах великолепная голова с развевающимися кудрями принадлежала не знаменитому силачу древности, а молодому Зевсу, богу-громовержцу. Та же неудержимая сила, безграничная энергия, которые проявлялись при каждом движении в этих стальных мышцах тела, светилась и в этих огневых, пронизательных глазах, в этих выразительных, строгих чертах лица, одухотворенных однако вместе с тем божескою искрой острого ума и отзывчивой души. Это был поистине царь земной, хотя вместо царского венца на нем была только помятая, полинялая треуголка, вместо порфи-

ры — бомбардир-капитанский кафтан из грубого темно-зеленого сукна (выделанного на недавно открытой в Москве суконной фабрике), а в руке вместо скипетра — суковатая дубинка. Но какими бы тучами, темными или ясными, не было окружено проглянувшее на небе солнце — разве оно для нас, простых смертных, не будет всегда тем лучезарным солнцем, мировым царственным светилом?

При приближении государя галдевшая вокруг четырех раненых толпа мигом смолкла и с благоговейным страхом расступилась. Орлиным взором своим Петр разом обозрел беду, причиненную гранатой.

— Воды сюда, бинтов, корпий да инструментов! — четко и ясно среди общего молчания прозвучал его повелительный голос.

Как от внезапно налетевшего урагана клонятся, колышутся поголовно и вековые сосны, и стройные березки, так же точно по властному царскому слову заматались кругом и почтенные генералы, и молодые солдаты. Не прошло двух минут, как все потребованное государем было уже налицо.

— Это тот самый пленный фенрик, о коем

я имел сейчас счастье докладывать вашему величеству, — отрапортовал генерал Ламберт, указывая на распростертого на земле Ливена.

Петр с нахмуренными бровями, в ответ чуть кивнул головой и обратился к лейб-медику Арескину:

— Разбинтуй-ка рану: не придется ли, не дай Бог, ампутировать?

Тот снял импровизованный бинт и доложил, что жаль-де юнца, но обе кости: *ulna* и *radius* (локтевая и лучевая) раздроблены и без ампутации не обойтись.

— Так подай-ка сюда свои инструменты, — сказал государь, засучивая рукава. — Этого я беру на себя, а ты займись покуда теми.

Опустясь на колено перед бесчувственным по-прежнему молодым пленным, он умелой рукой принялся за ампутацию. Вылущив из сочленения раздробленные кости, он бережно обмыл зияющий локоть раненого, обложил рану корпией и наконец забинтовал. Приближенные, по молчаливому знаку царя, проворно подавали ему то или другое. Умыв в заключение окровавленные руки, Петр подо-

шел к лейб-медику, который возился еще около второго раненого.

— Что, еще и со вторым не справился? — сказал он с усмешкой, видимо, довольный своей удачной операцией. — Оставляю теперь и моего пациента на твоём попечении. Порадей о нём, слышишь? Ты отвечаешь мне за него! — внушительно прибавил он, приподнимая палец. Затем дружелюбным тоном обратился к раненым русским: — За вас-то, молодцов моих, мне не страшно, сами за себя постоите. Что русскому здорово, то немцу смерть. Так ли я говорю, ребята?

— Так, батюшка-государь! Ради стараться! — весело отозвались те в один голос.

— Ужо, потерпите, как прибудет наша артиллерия, так мы свейцев в отместку попотчуем тоже нашим российским чугунным го-стинцем. А дабы царапины ваши живее зажили, пропишем вам сей же час целительного бальзаму: поднеси им по доброй чарке двойной перцовки!

— Ура! Дай Бог тебе три века, государь! — крикнуло совсем ободрившееся трио.

— Ну, а тот молодец, Ламберт, что полонил

нам сего фенрика, где он у тебя?

— Здесь, ваше величество, — отвечал генерал Ламберт, позаботившийся уже поставить Лукашку позади себя, и отступил в сторону, чтобы пропустить того вперед.

Петр быстрым взглядом окинул вытянувшегося перед ним в струнку калмыка.

— Из тебя, кажись, выйдет бравый гвардеец. А накормили тебя тоже, напоили?

— Накормили, напоили, государь! Много благодарен... — поспешил тот с ответом, но сам своего голоса не узнал: от непреодолимого душевного волнения ему словно кто сжал железной рукой горло.

— Хорошо. Ступай за мной.

Государь повернул обратно к своей палатке на ходу слегка лишь опираясь на свою увесистую дубинку — не как слабосильный старец, нуждающийся в постоянной опоре, а как силач-богатырь, никогда не расстающийся со своим оружием и поддающий им только ходу своей мощи. Многочисленная свита двинулась следом за царем, и Лукашка, естественно, должен был посторониться. Но молоденький денщик царский Павел Ягужинский тот-

час погнал его вперед:

— Иди, иди! Не отставай.

Перед входом в палатку встретил Петра сам генерал-фельдмаршал Шереметев.

— Что нового? — спросил его государь.

— Лазутчик наш вернулся сейчас со взморья, — был ответ, — но флота неприятельского, говорит, еще не видать.

— Фарватеру невскому, знать, не доверяют, — вставил первый после царя знаток мореплавательного искусства Меншиков, когда-то простой пирожник, а теперь вот, на тридцатом году жизни, ближайший царский советчик и губернатор шлиссельбургский.

— Дай строку, мейн герц: захватим всю Неву — исправим и фарватер, — промолвил Петр. — А свой глаз все вернее: ныне же, Данилыч, осмотрим-ка купно все устье до взморья.

— Ваше величество возьмете с собой и деташе-мент? — спросил генерал-фельдмаршал.

— Не мешает: авось укрепимся там сряду. Отряди мне моих любезных гвардейцев. Теперь же мне надо еще секретно допросить сего молодчика.

Государь кивнул калмыку и вошел в палатку. Присутствовать при «секретном» допросе без особого на то разрешения осмелился из всей свиты один лишь юноша-денщик Ягужинский. Но денщики при царе Петре не имели ничего общего с нынешними полковыми денщиками, простыми дневальными, нестроевыми служителями из солдат: выбирались они самим царем по большей части из родовитых дворян и состояли при нем в том же качестве, как нынешние царские камер-юнкеры, камергеры или флигель-адъютанты. Павлуша Ягужинский, чернокудрый и быстроглазый, смышленный и расторопный, скоро сделался первым любимцем Петра, и безотлучное пребывание его при особе государя во всякую пору дня и ночи как бы разумелось само собою. И теперь он молча стал позади царского кресла.

— Как выбрался ты из вражеской фортеции — наслышан я уже от генерала Ламберта, — начал Петр. — А как попал туда и чей ты — еще не ведаю. Расскажи-ка.

Своему ветреному, но доброму господину Лукашка, как уже известно, был предан те-

лом и душою. Чтобы оградить его от неминуемого гнева государева, он приготовился при допросе если и не прибегнуть к явной лжи, то кой о чем умолчать, а иное, чего совсем замолчать было бы невозможно, представить в самом благоприятном свете. Но, очутившись теперь, впервые в жизни, лицом к лицу с царем, он чувствовал, как этот устремленный на него пытливый, огненный взор пронизывает его насквозь, проникает к нему в самую глубину души. И его, не знавшего вообще чувства страха, охватил безотчетный трепет. Он понял, что утаить ничего уже не вправе, не в силах, — и бухнулся в ноги царю.

— Прости, государь!

Ясное до этих пор чело Петра омрачилось, благосклонно-спокойные черты лица его нервно задергало.

— В чем тебя простить? — спросил он. — Аль замыслил что с врагами нашими против нас?

— О нет! Помилуй Бог!

— Так в чем же ты винишься? Ну?

— В том, государь, что ослушался твоей воли царской.

И, не выжидая дальнейших вопросов, Лукашка чистосердечно, кратко и толково показавшись, как они с господином своим задолго до срока покинули Тулон и Брест для Парижа, как, благодаря паспорту маркиза Ламбаля, пробрались в Ниеншанц и как их здесь обличили и засадили в казематы.

— И барин твой все еще там, в казематах? — отрывисто спросил Петр, который ни разу не прервал кающегося, но в заметном раздражении постукивал по деревянной настилке палатки своей могучей дубинкой.

— Там же все, государь, с самой осени, девятый уж месяц.

— Поделом ему, шалопуту! Пускай еще посидит, потомится. С ним счета у нас впереди. А с тобой, любезнейший, сейчас рассчитаемся.

И коленопреклоненный ощутил в загривке у себя богатырскую пятерню, а на спине — знаменитую дубинку. Покорясь неизбежному, он стиснул только зубы, чтобы не издать ни звука.

— Смилуйся над ним, государь! — услышал он тут юношеский голос Ягужинского. — Лев

мышей не давит.

— Ты-то что, цыпленок? — буркнул Петр, однако на минутку приостановился в экзекуции, чтобы перевести дух.

— Его вина ведь с полвины, — продолжал молодой заступник, — он подневольный, крепостной человек...

— Всякий крепостной неразделен от своего барина: где один виноват, там и другой в ответе.

— С барина за крепостного отчего не взыскать, но как же крепостному отвечать за всякую барскую блажь? Дерзни-ка он противоборствовать, ослушаться своего барина — и сам ты, государь, его, я чай, не похвалил бы.

— Гм... пожалуй, что и так, — согласился Петр и выпустил из рук калмыка. — Но этого молодца и в ступе не утолчешь: хоть бы пикнул.

Лукашка почел момент удобным, чтобы подать опять голос.

— Перед тобой, великим цесарем, всякая земная тварь превратится не токмо что в карлу, а в мелкую песчинку, — сказал он. — А пикни я только, так ты, государь, по благодати

своей, чего доброго, прекратил бы законное истязание.

Суровые черты Петра просветлели легкою улыбкой.

— Так тебе дубинка моя против словесных репри-мантов показалась?

— Слаще меду, государь, — бойко отозвался калмык, ободренный монаршей улыбкой, — и будет, по крайности, чем похвастаться перед барином: ему отродясь еще такой чести не было.

— Авось дождется. Покамест же у меня дело с одним тобою. Как звать-то тебя, любезный?

— В святом крещении Лукой наименовали, а так-то на миру Лукашкой кличут.

— Так вот что, друг Лука, не сумеешь ли ты сказать мне: прошлого осенью под Орешком, что ныне Шлиссельбург, один здешний старик-смолокур доставил мне план Ниеншанца. Сказывал он, что велел ему передать мне его некий беглый русский...

Скошенные глазки калмыка в узких щелочках своих радостно заблестали.

— А планчик государь, тебе погодился? — в

свою очередь спросил он.

— Облегчил, во всяком случае, дело: по нем вот два береговых редута уже взяты, по нем же теперь апроши подводим.

— Благодарение и хвала Создателю во Святой Троице!

И Лукашка осенил себя широким крестом на золотую икону Спасителя в углу палатки.

— Да не ты ли уж, братец, тот самый беглый русский? — догадался тут Петр.

— Не возьми во гнев, государь, но думалось мне, что и последнему рабу твоему надо блюсти отечество...

— Да где ж ты взял его, план тот?

— Сам, как умел, смастерил.

— Ну, уж и сам! Дай Бог всякому такое умение. Не врешь ты, Лука, а?

— Дерзнул ли бы я оболгать тебя, государь? Да отсохни у меня язык...

— У кого же ты обучился?

— А с погляденья, как состоял при моем господине в тулонской навигационной школе.

— Ну, хват же ты парень, разбитной и рассудливый, одолжил ты меня! — похвалил

царь. — И прискорбно мне лишь, что за сей подвиг отчизнолюбия, вместо знаков благоприятства, побил еще тебя. Но те побои, так и быть, вперед тебе зачтутся, коли вдругорядь точно бы провинился. Напомни-ка мне тогда, Павлуша.

— Не премину, ваше величество.

— А теперь, Лука, чем бы мне тебя утешить?

— Да ничем, государь: твоей лаской царской я превыше всего утешен.

— Каков ведь малый! И не корыстен. Ну, да видимся с тобой не в последний раз. Но солонья баснями не кормят; Павлуша, возьми-ка молодца на буксир, прикажи на кухне досыта его накормить, напоить.

— Да я сыт, государь, — заявил калмык, — давеча только кашевары твои кашей попотчевали.

— Запрем калачом, запечатаем пряником, — сказал Павлуша Ягужинский. — Идем, братец.

— Иди, иди, — поддакнул государь. — Кста-ти ж, он тебя и обмундирует. А то, вишь, эта шведская форма на добром русском глаза ко-

лет.

— А как обмундировать его, ваше величество? — спросил молодой денщик.

— Да одень его барабанщиком. Покуда он ведь еще отставной козы барабанщик, так пускай носит мундир свой для почета. Но заново наряди его, слышь, с иголки!

— Будет исполнено, ваше величество.

Допущенный в заключение к руке государевой, Лукашка с земным поклоном отретировался из палатки. Спина еще ныла, но ноги у него словно окрылились, и последовал он за Ягужинским к походному цейхгаузу, а оттуда на царскую кухню с высоко поднятою головой. О том, что говорилось «секретно» в царской палатке, он на все расспросы своих прежних собеседников у костра не счел удобным распространяться; но уже по его загадочно-счастливой улыбке, по его новенькой амуниции и по нарочитому угощению его царским «мундкохом» не трудно было всякому доискаться, что молодчик этот у царя за что-то в особом фаворе.

Глава седьмая

*Нет, нам пора!.. Открой мне жилы!
О, величайшее из благ —
Смерть! ты теперь в моих руках!..
Майков*

*Что не золотая трубушка воструби-
ла,
Не серебряна сиповочка взыграла —
Что возговорит наш батюшка право-
славный царь:
«Ах вы, гой еси, все князья и бояре!
Вы придумайте мне думушку, прига-
дайте,
Еще как нам Азов город взяти?»
«Петровская солдатская песня»*

Вечером того же дня царь Петр отбыл на ше-
стидесяти карбасах с семьёю гвардейскими
ротами на взморье. Вернулся он оттуда в
Шлотбург (как был прозван русский лагерь
под Ниеншанцем) уже на следующее утро, 29
апреля, оставив в засаде на Васильевском (Ло-
сином) острове (которому было теперь воз-
вращено его прежнее русское название) три
роты в ожидании появления с моря неприя-

тельского флота. Из ниеншанцской цитадели хотя и было пущено по плывущим мимо русским несколько ядер, но без какого-либо вреда. Зато со «стрелки» Васильевского острова сделано было серьезное покушение, и именно на Меншикова, карбас которого плыл саженой двадцать впереди всего отряда и которого поэтому шведы, должно быть, приняли за самого царя.

Подробности об этом покушении Лукашка узнал непосредственно от одного из участников экспедиции — Преображенского сержанта. Как только передовой карбас поравнялся со «стрелкой», из прикрытой кустами береговой бухточки вылетели два восьмивесельных баркаса и одновременно с двух бортов причалили к лодке Меншикова, чтобы взять ее на abordаж. Но дружным залпом русских была тут же перебита половина нападающих, в том числе и сам командир их, бесноватый какой-то старичок-офицер.

— Майор де ла Гарди! — воскликнул Лукашка.

— Так называли его нам, — подтвердил сержант.

— Помяни, Господи, царя Соломона и всю премудрость его! На вышке у старичины обстояло ведь неблагополучно.

— Подлинно, что так: противу шестидесяти царских карбасов на двух лодчонках со своими ледащими чухнами идти!

— Ну, те, конечно, без командира-то тотчас пардону запросили?

— Знамое дело. А мызу майорскую государь тут же Меншикову пожаловал: вот, мол, тебе, Данилыч, и место для новых палат твоих. Поклонился тот в ножки государю и с одной ротой высадился у мызы — якобы для того, чтобы обеспечить государя с тылу.

— А то еще для чего же?

Сержант ухмыльнулся и подмигнул лукаво.

— Да почивать-то на майорских пуховиках куда, поди, мягче и теплее, чем в лодке на голых досках либо на голой земле, особливо под утро, когда этак дюже посвежеет. Он у нас, что греха таить, хоть и из простых вышел, а вдвое роскошней и привередливей самого государя.

— Так государь, стало быть, заночевал на

взморье?

— Как и подобает на походе. Сколько ночей, бывало, провел он так на Ладоге да под Шлюшеном на палубе рядом с нашим братом. Подстелют ему разве дорожный коврик, да за место изголовья себе денщика возьмет — Ягужинского Павла Иваныча али кто как раз на дежурстве.

— То есть как же так за место изголовья?

— А так, вишь, что приляжет ему головой, значит, на спину, а тот не моги уже ворохнуться, чтобы, Боже упаси, не разбудить царя.

— Нелегкая тоже служба... А де ла Гарди там же, на Васильевском, и зарыли?

— Нет, осталась после него старушка-сестрица, упросила, слышь, Меншикова схоронить братца тихомолком на городском кладбище, в семейном склепе.

— Вы про кого это, братцы? Про горемычного нашего фенрика? — спросил подошедший тут к разговаривающим фельдшер из походного лазарета.

— Про какого фенрика? Про Ливена? — всполошился Лукашка. — Что с ним?

— Аль не слышал разве, то отошел он тоже

от сей жизни в вечную?

— Бог ты мой! Царство ему небесное! Но ведь государь поручил его особливому попечению лейб-медика...

— И пеклися; лечение шло своим ходом. Да вот но-нешною ночью, Господь его ведает, что ему попритчилось: как малыш несмышленный, самовольно развязал себе бинт на руке. Как хватились мы под утро — ан больной уж кровью истек.

— Сраму, знать, не мог снести, что в плен добровольно отдался. И никого-то из своих да же при нем не было, чтобы закрыть глаза бедняге на вечный покой!

— Ты-то, Лука, чего об нем терзаешься? Родня он тебе, что ли?

— Родня не родня, а все якобы по моей милости под свое же шведское ядро угодил.

— На том свете, авось, сквитаетесь, — философски заметил сержант. — Знать, ему такое уже предопределение вышло. Промеж жизни и смерти и блошка не проскочит.

Если сердобольный калмык раз-другой вздохнул еще от горькой участи бездольного шведского фенрика, то другим в лагере было

уже решительно не до него, потому что в это самое время прибыла наконец на барках запоздавшая артиллерия из Шлиссельбурга. К вечеру успели и подводимые к крепости траншеи, так что не медля могло быть приступлено к самой установке мортир и пушек. Целую ночь напролет, с 29-го на 30 апреля, на траншеях кипела неустанная работа, а к полудню 30-го все батареи были уже в порядке, орудия заряжены; оставалось начать бомбардировку.

Но на собранном государем военном совете было решено — не громить цитадели и беззащитного города, не испытав предварительно всех мер к миролюбивому соглашению.

От имени генерал-фельдмаршала Шереметева к коменданту цитадели, полковнику Опалеву, был отряжен трубач с «уведостительным» письмом о сдаче крепости и города «на акорд».

Махая белым платком, трубач подошел к подъемному мосту и громко затрубил. Мост был опущен, и трубач скрылся в воротах цитадели. Вслед затем батареи на крепостном валу смолкли; в цитадели, очевидно, нача-

лось совещание о сдаче.

Весь русский лагерь был в лихорадочном возбуждении, особенно фейерверкеры, которые с фитилями в руках беспокойно расхаживали около своих орудий. Ужели же им и выстрела сделать не придется в ответ на эту дневную и ночную воркотню вражьих пушек? Из-за чего же столько хлопотали?

Но вот прошел час, и другой, и третий, а господа шведы все еще совещались. Общее нетерпение лагеря с часа на час возрастало, заразило, зная, и самого царя. С нахмуренным челом неожиданно появлялся он то тут, то там на траншеях, то меж солдатских шатров, то на берегу Невы у карбасов, словно нигде ему не было покоя, и зычный голос его разносился далеко в окружности, заставляя невольно вздрагивать и озираться всех и каждого.

— Серчает батюшка-царь на шведа, ух как серчает! — перешептывались солдаты. — За обеденный стол, слышь, даже садиться заклался, доколе отписки не дадут. А мундкох на кухне инда плачет, волосы на себе рвет, все кушанья, мол, перепреют, перегорят.

Но не царь один и старший повар его негодовали на медленность шведов: большинство приближенных государя разделяло их нетерпение, поглядывало то и дело на свои карманные луковицы, — некоторые, правда, по одной причине с мундкохом, потому что «адмиральский» час давно пробил.

— Вот уже и пятый час на исходе, — вполголоса передавали они друг другу.

— Пятый час? — расслышав, подхватил Петр и топнул ногою. — Что мы, на смех им дались, что ли? Сказано же было, что дается два часа сроку! А вот с полудня ждем да ждем...

— Долгонько, точно, — заметил рассудительный Шереметев. — Но у них тоже, полагать надо, свой воинский онор, и в превеликой конфузии зело тяжело им без единого выстрела с нашей стороны оружие сложить.

— Так одолжим их: дадим генеральный залп!

— Час времени еще подарим им, государь; обождем до шести.

— Так и быть, — нехотя уступил Петр. — Но коли до шести не дождемся нашего труба-

ча...

— Тогда отправим за ним еще барабанщика, — досказал Меншиков.

— Ты что, Данилыч? — гневно вскинулся на него государь. — Шутить еще вздумал?

— Какие шутки, ваше величество! Чем же посланец наш повинен, что те замешкались? А ему наверняка бы не сдобровать, ежели бы мы, не упредив, открыли огонь. Так ли я говорю, господа генералитет?

«Господа генералитет», переглянувшись, нерешительно присоединились к мнению всесильного фаворита.

— Ну, будь по-вашему, — сдался Петр, но глаза его зловеще сверкнули, а могучая дубинка в руке его на четверть врылась в рыхлую землю.

Глава восьмая

*Возьми барабан и не бойся!
Вот смысл философии всей.
Гейне*

*Смойте с лиц вы краски брани,
С ваших пальцев — пятна крови,
Закурите дружно вместе
Эти трубки — трубки мира.
Лонгфелло*

Слух о решении государя потерпеть еще до шести часов и затем послать за трубачом барабанщика живо распространился по всему лагерю. Дошел он, таким образом, и до Лу-кашки. За четверть часа до урочного срока калмык начал слоняться около царской палатки, знай, поглядывая с озабоченным лицом на видневшиеся вдали башенные часы цитадели. Стрелка на них подвигалась все ближе к шести, а подъемный мост все еще оставался поднятым, и о трубаче не было ни слуху ни духу.

Минут семь до срока полотняный край палатки внезапно распахнулся, и оттуда выско-

чил Павлуша Ягужинский. За короткое время своего пребывания в лагере Лукашка успел уже заслужить доброе расположение молоденького царского денщика, между прочим, благодаря своим любопытным рассказам о пышной столице французов, куда государь обещался свезти и Павлушу. Теперь ловкий калмык решился воспользоваться благожелательством последнего.

— Куда, Павел Иванович? — спросил он, заслоня Ягужинскому дорогу.

Тот только рукой отмахнулся: не до тебя, мол отвяжись.

— За барабанщиком к господам шведам? — не отставал Лукашка.

— Да, да.

— Так он здесь.

Ягужинский, недоумевая, обвел кругом взором.

— Где?

Калмык с самосознание ткнул себя указательным перстом в грудь:

— Voila, monsieur!

— Ты? Лукашка?

— Oui, monsieur.

— Мундир-то на тебе, точно, барабанщика, да требуется, брат, и умение.

— А у нас его разве нет? Отбарабаним всякую штуку так, что любо. Не даром в науке у французов побывали. Право же, голубчик Павел Иванович, усерднейшая к тебе просьба: пошли ты меня к ним барабанщиком!

— А на что тебе, чужак ты этакий?

— На то, чтобы господина моего там проводить. Ведь он, сердечный, по дурацкой своей фанаберии, сидит сиднем еще в своей волчьей яме не только что без парного молока, но и без капельки воды пресной, без крошки хлеба черствого. Ну, а у меня тоже, слава Богу, не деревянная душа, надо же вызнать: жив ли он еще там, здоров ли?

Молил слуга о своем господине так умильно, что тронул молодое сердце царского денщика.

— Да ты, Лукашка, не врешь? — спросил тот. — Ты и вправду барабанить обучен?

— Вот те крест! Зря соваться не стал бы. Хоть сейчас экзамен учини.

— Хорошо, учиним, а там, коли правда, доложим, пожалуй, его величеству.

До шатра царских музыкантов была добрая сотня шагов. Но издали еще доносились оттуда нестройные звуки разных духовых инструментов, так как каждый музыкант, упражняясь сам по себе, старался заглушить других. При появлении любимого государева денщика звуковой хаос разом стих. А когда Ягужинский потребовал барабан и затем передал его вместе с палочками Лукашке, все присутствующие музыканты обступили калмыка, который своей обходительностью и невозмутимым балагурством успел уже приобрести себе в лагере некоторого рода популярность и теперь, по-видимому, собирался показать опять одну из своих диковинных заморских штук. Ожидание их не обмануло.

Перебросив через плечо ремень от барабана и молодецки выставив правую ногу, Лукашка с каким-то особенным вывертом вооружился барабанными палочками и стал отбивать мелкую дробь.

— Ровно горох пересыпает! Аль дождичек в стекла бьет! — толковали меж собой слушатели.

Но вот дробь становится все крупней и

крупней и сама собой переходит в парадный марш.

— Экой штукарь ведь! Чтоб ты мухи съели! — не могли уже скрыть своего изумления компетентные судьи.

Тут сквозь торжественный темп марша прорвалась игривая трель. В то же время и гуды барабанщика затрелили в такт.

— Жаворонок, братцы, как есть жаворонок!

Но это что же? Трели барабана и жаворонка все слышней, все явственней переходят в стародавний народный мотивец.

— «Ты такой-сякой комаринский мужик!» — замурлыкал один из музыкантов, сосед тотчас подтянул, и вот вся ватага, точно ожидала только этого условного знака, хором подхватила излюбленную песню.

Павлуша Ягужинский сперва было также невольно заслушался, но оглушивший его теперь хор напомнил ему, что послан он сюда государем вовсе не затем, чтобы отвлекать музыкантов от дела.

— Это еще что?! — крикнул он и остановил рукою не в меру расходившиеся палочки ба-

рабанщика. — Будет, брат, будет!

— Так что же, Павел Иванович, — спросил Лукашка, — как, по-твоему, обучен я по-мало-сти барабанному делу?

— Не токмо обучен, а переучен. Коли ты забарабанишь перед его величеством таким же шальным аллюром...

— Да что я — очумел или юродивый, что ли, что не знал бы, как держать себя перед царем? И неужто ж я тебя, протектора моего, в конфузию введу?

— Ну, то-то.

Они возвратились к царской палатке.

— Обожди-ка тут, — сказал Ягужинский и вошел один в палатку. Вслед затем он вышел опять оттуда и кивнул калмыку: — Я доложил государю твою просьбу. Смотри же, не плошай.

— Не бойсь, постоим за себя.

Несмотря на такое уверение, на душе у Лукашки было далеко не покойно: «А ну, как все же оплошаю?» Когда же он ступил в палатку и очутился перед государем, глаза которого, как и взоры нескольких бывших тут генералов, тотчас же устремились на него, сердце в

нем застучало еще сильнее.

— Так ты, Лука, просишься в мои парламентеры? — заговорил Петр.

— Коли будет такая твоя государева милость, — отвечал Лукашка, смело выдерживая блестящий взгляд царя. — По-ихнему хоть не гораздо разумею, но по-французски, по-немецки маракую.

— И барабанить знаешь, удостоверяет Павлуша.

— На всякий лад, ваше величество, — вновь подтвердил Ягужинский.

— Так пробарабань-ка, послушаем.

Не раз уже доводилось Лукашке как в Москве, так и здесь, в Шлотбурге, слышать полковой барабанный бой. Не задумываясь, он бойко забарабанил.

— Изрядно, — сказал Петр, — но все же не то.

И, взяв у калмыка обе палочки, он мощно ударил по барабану. Да, это подлинно было не то, совсем не то!

— Что, уразумел? — спросил царь, возвращая палочки.

— Уразумел, кажись.

— Так повтори.

С врожденной ему переимчивостью и сметкой Лукашка повторил сейчас слышанное, да так поразительно-схоже, что Петр переглянулся с приближенными и одобрительно кивнул головой.

— Сойдет. Так вот, Лука, твоя задача, значит: вели доложить о себе господину коменданту — человек он, слышно, резонабельный — и объяви ему со всей аттенцией, что накалякались они вдоволь — вместо двух, целых шесть часов, и что долее ждать я не намерен. Говернаменту его, так ли, сяк ли, конец. Пусть же беспромедлительно отпустит моего трубача — с ответом или без оногo, как его милости угодно будет, но коли-де вернет его без ответа, то диспозиции у нас приняты и просим не пенять!

Металлически-звонкий тон голоса Петра и сверкнувший из глаз его огненный луч красноречиво досказали нешуточную угрозу.

— Понял?

— Понял-с и приложу всемерное старание к благополучному исходу.

— Добро. Ступай.

Вряд ли в целом лагере русских нашелся бы служивый, не знавший шведского полоненника Лукашку хотя бы с виду. Когда он теперь, с перевешенным через плечо барабаном, ровным солдатским шагом бесстрашно двинулся за русские траншеи к подъемному мосту цитадели, сотня любопытных усатых голов высунулась из траншей поглазеть ему вслед.

— Ишь ты, поди ж ты! — слышалось за его спиной. — Вчерась Макар огороды копал, а ноне Макар в воеводы попал.

С меньшим интересом наблюдали за ним и шведские канониры с крепостных бастиеонов.

Подойдя к крепостному рву против подъемного моста, калмык забарабанил. На валу, по ту сторону рва, появился офицер, в котором Лукашка узнал одного из виденных им еще прошлой осенью приятелей майора фон Конова. И тот, казалось, признал в барабанщике продувного камердинера мнимого маркиза Ламбаля, потому что, насупясь, тотчас крикнул ему по-французски: что ему нужно?

— Меня командировал все милостивейший

государь мой парламентаром к господину коменданту цитадели, — с достоинством отвечал наш барабанщик. — Благоволите впустить.

Офицер скрылся с вала, чтобы заручиться разрешением начальства. Немного погодя, он возвратился и отдал приказ часовому опустить подъемный мост. Тяжелые цепи загремели, и мост с грохотом перекинулся через ров.

С такими ли чувствами Лукашка переходил в последний раз этот самый ров! Тогда он прокрался в неприятельскую крепость с тайным умыслом, «аки тать в нощи», которого могли тут же без суда пристрелить, как бешенную собаку. Теперь лично для него, Лукашки, по особому распоряжению крепостного начальства опустили мост, раскрыли настежь крепостные ворота, и вступал он туда уполномоченным царским, на котором ни один из неприятелей, ни сам грозный комендант и волоса не посмеет тронуть!

На нижней площадке в комендантском подъезде им попался вместе с дневальным царский трубач, дожидавшийся еще «отпис-

ки». Офицер предложил было и нашему барабанщику обождать здесь, но тот категорически заявил, что обождет в прихожей господина коменданта, и офицеру волей-неволей пришлось взять его с собой во второй этаж.

По-видимому, еще на дворе он был усмотрен из окошка зорким женским глазом, потому что едва только закрылась дверь за офицером, как скрипнула противоположная дверь и оттуда к калмыку выглянула молоденькая белокурая головка.

— *Bonjour, m-lle!* — приветствовал он ее, отдавая по-солдатски честь. — Вы, верно, не узнаете меня?

— Ах, это вы, Люсьен? — словно обрадовалась комендантская дочка и вся показалась из дверей.

Да, это была она, фрекен Хильда, но уже не прежний подросточек с косичками и в коротеньком платьице, а подлинная барышня-невеста с высоко взбитой модной прической и хотя в домашней робе, но со шлейфом и на фижменах.

— Как жаль, мадемуазель, что господин мой не может вас видеть такую! — заметил

Лукашка.

— Какою? — удивилась фрекен Хильда.

— А такую, простите, пышною розой, какою вы за зиму распустились из бутона.

Свежий румянец на щеках барышни проступил еще ярче от вовсе уже неожиданного комплимента.

— Видно, что вы, Люсьен, побывали тоже в Париже, — прощebetала она, принимая серьезную мину. — Господину маркизу нет никакого дела до меня...

— Напротив, у меня есть от него к вам не только нижайший поклон...

— Ах, вот что, Люсьен! — поторопилась перебить его фрёкен Хильда. — Вы ведь теперь из русского лагеря?

— Да, с поручением от моего государя к господину коменданту.

— В таком случае вы, конечно, можете сказать мне... Она запнулась, как бы не решаясь выдать, что ее так интересуется.

— Что прикажете? — спросил калмык.

— Фенрик Ливен — там, у вас?..

— А вы, мадемуазель, принимаете участие в судьбе бедного фенрика? К сожалению, могу

сообщить вам об нем только самую грустную весть...

Фрёкен Хильда расширенными от испуга глазами уставилась в лицо барабанщика.

— Что вы с ним сделали? Говорите!

— Мы-то ничего, но ядром с ваших здешних бастионов ему, изволите видеть, раздробило руку...

Барышня ахнула, и розы на щеках ее уступили место бледности лилий.

— И руку ему отняли? — досказала она шепотом, как бы страшась своих собственных слов.

— Это бы еще ничего, но он сам потом оторвал бинт и — истек кровью.

Лукашка тотчас уже раскаялся в том, что ляпнул так сплеча. Из-под ресниц фрёкен Хильды брызнули слезы, и она неудержимо разрыдалась. Не зная, чем ее успокоить, калмык стоял перед нею неподвижно, как виноватый. Из взрослой барышни она обратилась в прежнюю девочку, которая совсем отдалась своему горю и плакала безутешно, навзрыд. Лукашке наконец стало невмочь слышать, и он решился пойти позвать кого-нибудь. Но

когда он тронулся с места, фрёкен Хильда пришла разом в себя и быстро повернулась к двери.

— Одно слово еще, мадемуазель! — остановил он ее, а когда она, сдерживая всхлипы, в пол-оборота к нему обернулась, он действительно продолжал: — Убедите, Бога ради, вашего батюшку — не проливать даром крови своих людей. Царь наш Петр великодушен, но при упорстве неприятеля не дает пардону.

— Отец мой и без того, кажется, предлагает сдаться, — обрывающимся голосом пробормотала молодая девушка, — но большинство против сдачи, особенно фон Конов...

И она скрылась.

«Эхма! А благодарности-то барина так вот и не успел передать, — спохватился тут Лукашка. — Да до того ли ей было? Однако что ж эти господа шведы, забыли, что ли, про меня? Государь меня небось тоже по головке не погладит».

Он тихонько приотворил дверь в комендантскую гостиную. Рядом из хозяйского кабинета долетал смешанный гул спорящих голосов, из которых особенно выделялись бес-

страстный голос самого полковника Опалева и прямодушно-вспыльчивый — майора фон Конова. Последний явно горячился, и Лукашка понял одно только, чаще других повторяемое слово «fosterland».

«О фостерланде — отечестве своем убивается. Трагедия!»

И, переступив порог, он громко кашлянул, чтобы обратить внимание спорящих. Комендант тотчас же вышел к нему в гостиную с озабоченно-мрачной миной; увидев же калмыка, он гордо приосанился, черты его приняли еще более горькое, жесткое выражение, и вопрос его прозвучал холодно и резко:

— По какому праву ты вошел сюда?

— По праву уполномоченного моего царя, — был такой же холодный, но спокойный ответ. — Государь еще в двенадцать часов дня прислал вам предложение об акорде...

— Мы совещаемся!

— Его величество велел сказать вам, что шести часов вам было более чем достаточно для определенного ответа и что далее он ждать не намерен.

— Но коли мы не пришли еще к оконча-

тельному решению!

— А не пришли, так не изволите ли без промедления отпустить нашего трубача, хотя бы и без письма. Но осмелюсь доложить, что орудия наши заряжены и наставлены, бомбардиры наши ждут только приказа разгромить в пепел и цитадель, и город. Пожалели бы вы хоть мирных горожан, пожалели бы и себя с красавицей-дочкой...

— Прошу без советов! — оборвал советчика комендант. — Ответ будет через пять минут.

И он повелительно указал на выходную дверь в прихожую. «Уполномоченный» с поклоном отретировался.

Прошло, действительно, не более пяти минут, как к нему вышел дежурный офицер с запечатанным письмом в руке. Оба спустились вниз, и офицер вручил письмо царскому трубачу.

— Будьте любезны, monsieur, сказать мне, — обратился тут Лукашка к офицеру, — что делает у вас господин мой, мистер Спафариев?

Офицер с нескрываемой враждебностью

свысока покосился на вопрошающего и коротко отрезал.

— Сидит!

— Стало быть, жив. А что сказано в этом письме? Вы поймете, monsieur, что мне тоже крайне любопытно...

— Не твое дело. Марш!

Тем же порядком трубач и барабанщик были выпровожены за подъемный мост, который тотчас же был опять поднят за ними.

— Ну, плохо дело! — проворчал Лукашка, почесывая за ухом. — Наверняка отказ. Будет нам на орехи!

— Мне-то за что же? — встревожился трубач.

— Про тебя, милый человек, не ведаю, а что мне-то достанется — это уж как пить дать.

— Но за что?

— За то, что сам в полномочные посланники напросился, а на поверку дурак писанный вышел. И оправиться-то нечем.

Предчувствие его не обмануло. Когда Петр, приняв от трубача письмо, сорвал конверт и пробежал ответ коменданта, лицо его вдруг побагровело, судорожно передернулось.

— И ради этакой-то отповеди от какого-то полковника шведского ждать еще шесть часов слишком! — вскричал он и, скомкав письмо, бросил его оземь и затоптал ногою.

Перепуганные царедворцы кругом безмолвствовали. Атмосфера в палатке, казалось, была насыщена электричеством, которое вот-вот должно было сейчас разрядиться на кого-нибудь из них громовым ударом. Самый бесстрашный из присутствующих, вновь назначенный комендант шлиссельбургский Меншиков, первый решился затронуть занимавший всех вопрос:

— А что же пишет вашему величеству этот Опалев?

— Что он пишет, бездельник? В начале хоть и благодарит за сходную пропозицию...

— Значит, все же благодарит?

— Ну да, для проформы! Но о любовной сдаче фортеции и слышать не хочет: вручена-де она ему королем Карлом для обороны, и патриотизм же ему повелевает оборонять ее до последней капли крови.

— Но можно ли, государь, со всем решпектом сказать, можно ль поставить ему патрио-

тизм его в столь великую вину?

— Как солдату — нет, но как человеку — да: упорство его будет стоять жизни многим и многим ни в чем неповинным! Ну что ж! Пускай же на его голову! Генерал-фельдмаршал! Делай свое дело, открывай бомбардировку!

Об отмене такого распоряжения не могло быть уже и речи. Шереметев, а за ним и вся остальная свита, подобострастно склонясь, поспешили выбраться вон из грозной атмосферы. Трубач, доставивший злополучную «отповедь» шведского коменданта, за спиной вельмож также ускользнул незаметно. Остались на своем месте только двое: царский денщик Ягужинский и временный барабанщик Лукашка.

— А! Ты еще здесь? Тебя-то мне и нужно! — заметил последнему Петр, сверкнув глазами и стукнув по полу своей дубовой палкой.

— И рад бы в землю уйти — да не расступается, — отвечал калмык, покорно подставляя спину.

— Не троньте его, ваше величество! — вступился тут Ягужинский. — Вы употчевали

его ведь намеренны уж в счет будущей вины.

Занесенная над виновным дубинка царская застыла в воздухе.

— Спасибо, что напомнил, Павлуша, — промолвил Петр. — С одного вола двух шкур не дерут. Но тебе, Лука, впредь ни за что не трогать уже барабан: ты навеки вечные разжалован из наших барабанщиков.

Хотя это и было произнесено уже с оттенком шутливости, однако Лукашка был рад-радехонек, когда очутился снова на вольном воздухе. Но тут он был ошеломлен громовым грохотом, от которого земля под ногами его дрогнула: разом заговорили молчавшие до сей поры русские пушки и мортиры, дружным залпом приступив в бомбардировке Ниеншанца.

Глава девятая

*Не две грозные тучи на небе восходили,
Сражались два войска большие —
Московское войско со шведским...
Как расплачутся шведские солдаты...
«Петровская солдатская песня»*

*Тише!.. О жизни покончен вопрос.
Больше не нужно ни песен, ни слез!
Никитин*

В поденной записке Петра Великого точно обозначено, что первый залп по Ниеншанцу произведен был 30 апреля, в седьмом часу вечера, одновременно из двадцати 24-футовых пушек и двенадцати мортир; после чего из пушек сделано было еще девять выстрелов, а из мортир бомбы метаны «во всю ночь даже до утра непрерывно».

Надо ли говорить, что в эту роковую ночь с 30 апреля на 1 мая не сомкнули глаз ни осаждающие, ни осаждаемые? Огненные шары взапуски перелетали туда и оттуда. Но в то время как русское войско, защищенное земляными окопами, не несло почти никакого

уруна, шведские крепость и город за десять часов непрерывной канонады жестоко пострадали: все небо кругом было объято багровым заревом, и в разных местах города взвивались огненные языки и облака дыма.

В пятом часу утра в цитадели забили отбой о сдаче — «шамад». Орудия с обеих сторон смолкли, и обе стороны впредь до заключения «акорда» обменялись аманатами (заложниками), причем один из шведских аманатов, майор Мурат, был уполномочен комендантом Опалевым подписать договор.

Имея полную возможность поставить побежденному врагу какие угодно условия, Петр, однако, был так доволен, добившись наконец морской пристани на Балтийском море, что не делал уже шведам никаких стеснений, и «акорд» состоялся в тот же день. Основные пункты его заключались в следующем: комендант, офицеры и нижние чины крепостного гарнизона выпускаются из цитадели «с распущенными знамены и с драгунским знаком, барабанным боем, со всею одеждою, с четырьмя железными полковыми пушками, с верхним и нижним ружьем, с принадлежа-

щими к тому порохом и пулями во рту», а затем переправляются через Неву на царских судах для следования большой Капорской дорогой на Нарву[11], конвоируемые русским офицером, «чтобы его царского величество войска и подъезды их не беспокоивали и не вредили»; вместе с воинскими чинами выпускаются и их жены, дети и слуги, раненые и больные, а также из города все желающие «чиновные люди» и обыватели; гарнизон получает «со всеми офицеры на месяц провианту на пропитание», и «его царского величества войско ничем не касается их пожитков, чтобы гарнизону дать сроку, пока все вещи свои вывезут».

Вслед за подписанием «акорда» преображенцы заняли город, а семеновцы были впущены в контрэскарп цитадели. Вместе с тем было приступлено к приемке крепостной артиллерии, амуниции и «прочего»[12]; но по громадной массе этого «прочего» дело затянулось до позднего вечера, так что сдача самой крепости могла состояться только на другое утро, 2 мая. После торжественного благодарственного молебствия в царском лагере и

троекратной пушечной и ружейной пальбы сложивший теперь с себя звание коменданта полковник Опалев, выйдя из цитадели в сопровождении своих офицеров, передал генерал-фельдмаршалу Шереметеву крепостные ключи.

После этой тяжелой для шведов официальной церемонии они, с разрешения царя, совершили не менее для них печальную частную церемонию перенесения тела фенрика Ливена в цитадель для отпевания его там по обряду лютеранской церкви. Коммерции советник Фризиус доставил из города в русский лагерь богатый гроб, который несли теперь полковые товарищи покойного.

До окончания всех формальностей по сдаче цитадели никто из русских внутрь ее не пропускаться. Лукашка, горевший нетерпением пробраться наконец к своему господину и переменивший между тем форму барабанщика опять на свою лакейскую ливрею, прикнул теперь к печальной процессии и таким образом беспрепятственно проник на крепостной двор. Тут перед комендантским подъездом стояла уже траурная колесница с

балдахином, запряженная шестью лошадьми в черных пополах и наголовниках из цветных перьев, заказанная — как оказалось потом, по настоянию фрёкен Хильды — также Фризиусом.

Но внимание калмыка остановилось не столько на колеснице, сколько на окружающих строениях. Бог ты мой, что случилось с образцовой в своем роде цитаделью! Крыша с главного ее здания была сорвана, и башенных часов словно никогда и не существовало; стены были буквально изрыты бомбами, и ни в одном почти окне не осталось цельного стекла. Флигеля несколько лучше сохранились; зато казармы представляли груды развалин, из которых торчали только черные остовы дымовых труб.

Не зная, где искать своего барина, Лукашка обратился за этим к стоявшему тут же на дворе в числе зевак комендантскому вестовому. Тот, не удостоив его словесного ответа, сердито кивнул только вверх, на квартиру своего начальника. Калмыку ничего не оставалось, как последовать туда же за траурным шествием. Прихожая была битком набита на-

родом, и Лукашка только шаг за шагом протискался до двери гостиной, когда пастор начал уже на шведском языке свое надгробное слово.

Для большего простора вся мебель из гостиной была вынесена; зеркало было завешено, шторы в окнах опущены. Открытый гроб с бездыханным телом стоял посреди горницы на черном катафалке, обставленном не только горящими восковыми свечами в высоких серебряных подсвечниках, но и целым лесом комнатных растений и цветов, заглушавших своим тонким ароматом духоту от множества скучившегося в горнице народа.

Тщетно искал Лукашка глазами двух хозяек дома, которые, несомненно, участвовали также в достойном убранстве катафалка всеми имевшимися в их распоряжении цветами, для оказания юному воину последней чести: ни тетушки, ни племянницы не было налицо. Но из соседней комнаты доносились как бы сдавленные всхлипы.

В это время кто-то тронул калмыка за плечо: то был господин его, прислонившийся тут же к притолоке входной двери. Но пускаться

в разговор было здесь ни время и ни место, и оба ограничились обменом дружескими взглядами.

Речь проповедника была, по-видимому, глубоко прочувствованна, потому что ни у одного из присутствовавших суровых воинов, даже у самого коменданта глаза не остались сухи. А вот на пороге соседней горницы показалась вместе со своей тетушкой, вся в черном, и фрёкен Хильда. Столпившиеся около гроба офицеры почтительно расступились, и молодая барышня опустилась на колени перед гробом, прижимая платок к губам, чтобы не разрыдаться. Настолько она поборолась, чтобы не издавать ни звука; но плечи у нее против воли судорожно вздрагивали.

— Словно злой дух какой-то! — пробормотал возле Лукашки господин его.

Когда тот, недоумевая, последовал глазами за направлением глаз Ивана Петровича, то понял, кого он понимает: стоявший до сих пор около коменданта Фризиус не утерпел и направился к своей невесте. Самоуверенно став рядом с нею, коммерции советник уставился глазами в лицо покойника с такой жестокой,

торжествующей миной, точно хотел сказать: «Ну, любезнейший, теперь-то, как себе хочешь, ты нам уже не опасен».

Ливен же, весь в зелени и цветах, с несбывавшим еще с безбородого лица нежным румянцем, с полуоткрытыми веками, лежал как живой, и игравшая на губах его неизменная, добродушно-наивная улыбка обнажала, как всегда, сверкающий белизною ряд как бы выточенных из слоновой кости зубов. И казалось, что эта юношеская улыбка говорила в ответ пожилому, надменному коммерции советнику: «Нет, любезнейший, как себе хочешь, а я и над землей, и под землей буду тебе равно опасен».

По окончании речи пастора дьячок-кантор затянул погребальный псалом. Но тут произошло некоторое замешательство: фрёкен Хильда, приподнявшись с пола, взглянула на лежавшего в гробу и, пораженная также, должно быть, его обманчиво свежим видом и обычною улыбкой, раздирающим голосом вскрикнула: «Han lefver!» («Он жив!»), закатила глаза и пошатнулась: с нею сделалось дурно. Жених подхватил ее и вместе с тетушкой

вывел под руки из комнаты.

За псалмом кантора комендант, а потом и все подчиненные его стали подходить один за другим прощаться с молодым товарищем. После всех, когда собирались уже накрыть покойника крышкой, приблизились и Спафариев с Лукашкой, чтобы также приложиться губами ко лбу несчастного фенрика. Никто им в этом не препятствовал, но никто не показал и виду, что замечает их, за исключением одного фон Конова. Тот нарочно, казалось, дожидая своего бывшего гостя у выхода и молча пожал ему крепко руку.

— Кто предвидел бы это? — вполголоса сказал Иван Петрович, указывая глазами на усопшего.

— Все мы должны быть приготовлены к тому же, как и м-то безнадежным тоном отозвался фон Конов. — Нынче была очередь Ливена, завтра, быть может, моя.

— Ну, полноте, дорогой мой! — мягко и сердечно старался ободрить его молодой русский. — Я очень хорошо понимаю, что вам тяжело на более или менее продолжительный срок покинуть вашу прекрасную мызу...

— Я взят с оружием в руках, и с мызой мне во всяком случае придется проститься. Спасибо хоть вашему царю, что дал мне разрешение закончить мои дела. Песня моя спета, а ваша, мосье, еще далеко не допета, и дай вам Бог тянуть ее возможно дольше!

В горле у говорящего словно что осеклось. Он быстро отвернулся и отошел к товарищам, чтобы вместе с ними принять с катафалка гроб; но от Спафариева не ускользнуло, что из-под опущенных ресниц весельчака-майора капнула на пол слеза.

Минут десять спустя из крепостных ворот двинулся печальный кортеж; но позади траурной колесницы следовали пешком только две фрёкен Опалевы, коммерции советник Фризиус да несколько горожан и горожанок; сослуживцы Ливена должны были отстать от него уже у подъемного моста. Зато взамен их тут же примкнул к шествию, по распоряжению царя, целый батальон русских гвардейцев, чтобы проводить покойника до самой могилы со всеми почестями — с распущенными знаменами, под звуки похоронного марша.

Глава десятая

*Сын роскоши, прохлад и нег...
Державин*

— **А** фон Конов у меня все из головы не выходит, — заметил задумчиво Иван Петрович своему камердинеру, провожая глазами печальную процессию, пока та не скрылась совсем из виду за городским мостом по той стороне Охты. — Точно прощался со мною навеки.

— А почем знать? — отвечал Лукашка. — Самому мне сдается, что у него что-то неладное на уме. Как бы не сотворил чего над собою! Но теперича, сударь, тебе первым делом надо позаботиться о своей собственной персоне. Аль забыл, что еще не обелил себя перед царем?

И калмык вкратце, но так образно описал первый допрос свой у царя, что Иван Петрович не на шутку призадумался.

— М-да, — промычал он, — дело-то как будто дрянь выходит...

— И весьма даже дрянь, monsieur, derniere

qualite.

— Так как же мне быть-то? У тебя, Лукашка, верно, найдется опять лазейка?

— У меня-то нет, но ежели ее нам кто устроит, так не кто иной, как Павлуша Ягужинский.

— Это кто же?

— А первый денщик царский. Но наперед не прикажешь ли обрить тебя?

Наш щеголь, мрачно насупясь, схватился рукой за заросший реденькой бородкой подбородок.

— Ah, sapristi! Когда перевели меня нынче поутру из каземата во флигель, я тотчас потребовал себе бородобрея, но подлецы так его мне и не прислали! Даже парик пришлось самому расчесать.

— Не до того им, знать, было.

— А мне-то каково? Хоть и зашел я тоже поклониться праху бедняги Ливена, но так и не решился в моем диком образе подойти к фрёкен Хильде.

— И ей, сударь, поверь, не до нас с тобой: больно уж скорбить по покойном.

— По Ливене? Да она же постоянно издева-

лась над ним! Мертвые сраму не имут. Но это был, правду сказать, такой дуралей, что будь он даже вдвое умнее, он все ж оставался бы прекомплектным ослом.

— А вот поди ж ты! Может, по тому-то самому он и был ей жалок и дорог. Разгадай сердце девичье! Кабы ты видел, как она в слезы ударилась, когда сведала от меня о его кончине; не дала мне даже передать поклон от тебя.

— Ну нет, пустяки, этого не может быть! Не может быть! — заволновался Иван Петрович. — Как только управишься с моим туалетом, беги духом в город, раздобудь мне букет лучших махровых роз.

— В эту-то пору года вряд ли найти их, да и продадут ли еще мне, врагу...

— Не мудрствуй, пожалуйста! Хоть из-под земли выкопай! — оборвал Спафариев камердинера, который обратился для него опять в прежнего крепостного человека. — Не сумел ты передать ей моей признательности, так должен же я принести ей ее персонально?

— Буде отец да жених допустят тебя до нее. Коли уж на то пошло, так букет я от твоего,

сударь, имени как-нибудь доставлю: мне все же сподручнее. Но спервоначалу дай нам уладить дело с Ягужинским и государем.

Иван Петрович со вздохом покорился. Туалетные принадлежности, в числе остальных его пожитков, были сданы ему еще поутру при переселении его во флигель цитадели. Расторопный калмык откуда-то добыл ручную тачку и в три приема перевез всю поклажу барины в русский лагерь, а именно в ту солдатскую палатку, где сам нашел приют, побрил здесь Ивана Петровича, завил, нарядил вновь с головы до ног из запасного гардероба, вывезенного еще из Парижа, и затем уже отправился отыскивать заступника барины в лице царского денщика.

Застал он Ягужинского с глазу на глаз довольно скоро, потому что государь со всею свитой вышел как раз к траншеям, чтобы наблюдать оттуда за выселением шведов из крепости за палисады по берегу Невы, где они имели пробыть впредь до особого царского указа, и молодому денщику был дан небольшой роздых.

Выслушав Лукашку, Ягужинский сомни-

тельно покачал головой.

— На мою протекцию для твоего господина и не рассчитывай, — объявил он. — Вечор только просил я за другого человека. Государь сперва и слышать не хотел: гораздо уж тот ему надосадил. Под конец же положил гнев на милость. «Будь по-твоему, — говорит, — это твой месячный рацион. Но до следующего рациона, чур, ни об ком уже не заикайся».

— Эка беда какая! — сокрушался Лукашка, почесывая в затылке. — Кого же еще просить-то?

— А вот пошли своего барина к Александру Данилычу. Он против всех в кредите у государя.

— Меншиков?

— Ну да. Это первая ведь спица в нашей царской колеснице. Если он возьмется ублажить государя, так дело твое в шляпе.

— То-то и есть, что коли кто этак из народа да вознесен превыше прочих человеческих тварей, так к нему уж и подступу нет. А Меншиков теперича, слышь, из вельмож самый наипышный...

— Пышный, да, но не недоступный. Лишь

бы взялся, а слово его твердо.

— Да бари́на-то моего он и в глаза не знает. Не доложишь ли ты, Павел Иванович, об нем? Будь благодетель!

— Доложить, пожалуй, доложу: на дню перебиваю сколько раз с цидулами от государя у его эксцеленции.

— Награди тебя Господь и все московские чудотворцы! В век тебе этого не забудем.

— Ладно. Будьте только оба на всякий случай поблизости.

Когда весь неприятельский гарнизон выбравшись наконец за палисады и государь с генералитетом возвратился в лагерь, «его эксцеленция» также удалился на время к себе. Царь Петр, во всем предпочитавший простоту и сам довольствовавшийся на походе палаткой, предоставил своему главному представителю, Меншикову, «блюсти царский онор»; почему Меншиков и в Шлотбурге устроился с возможным комфортом и роскошью в самом просторном из обывательских домов по сторону Охты.

Ягужинский сдержал свое слово. Не прошло часа времени, что господин со слугою ли-

сицами вкрут курятника кружились около дома Меншикова, как шмыгнувший туда с царской «цидулкой» Ягужинский вышел на крыльцо и махнул рукой Ивану Петровичу:

— Пожалуйте!

Не без сердцебиения вступил тот в кабинет «первой спицы в колеснице». Меншиков, в расстегнутом домашнем шелковом архалуке, из-под которого на груди белели тонкие кружева, в завитом, присыпанном пудрою парике с косичкой, сидел за письменным столом, заваленным бумагами. Услышав шаги вошедшего, он, не оборачиваясь, сделал только лебяжьим пером в руке знак, чтобы ему не мешали, и продолжал писать. Так Спафариев имел полный досуг оглядеться. Вся эта помпезная обстановка, очевидно, не могла принадлежать владельцу скромного домика в городском предместье, а следовала повсюду за Александром Даниловичем в походном обозе, чтобы во всякое время придать его жилью требуемую «помпу». Весь пол горницы был устлан дорогим персидским ковром; такими же коврами были обиты кругом стены, и на них с большим вкусом было развешено все-

возможное оружие: мушкеты и пистолы, палаши и кинжалы. В переднем углу горела и сверкала золотом и алмазами венцов и окладов большая образница с неугасимой лампадой. А это что же? Два великолепных лосиных рога с несчетными концами!

Иван Петрович не утерпел и подошел ближе, чтобы лучше разглядеть.

Да, никакого сомнения: та самая рассоха, из-за которой у него вышла эта рукопашная схватка с майором де ла Гарди!

— Что, узнал? — услышал он вдруг за спиною голос Меншикова.

Он быстро обернулся.

— Как не узнать, ваша эксцеленция? Из тысяч узнал бы, — отвечал он с невольным вздохом, отвешивая изысканный, по всем правилам реверанс.

— Да, сударь мой, что с возу упало, то пропало. Мне рога эти одинаково ценны, как память об атентате на мою персону.

Говоря так, Меншиков посыпал листок перед собою золотым песком, сложил его вчетверо и протянул дожидавшемуся на пороге Ягужинскому.

— Его величеству!

Затем снова повернулся к Спафариеву и, с изящной небрежностью облокотясь на ручку кресла, прищуренными глазами обмерил с головы до ног фигуру просителя. Безупречный с парижской точки зрения, но непривычный при московском дворе новомодный наряд нашего петиметра вызвал на губах царедворца снисходительно-ироническую улыбку.

— Ну-с, мосье маркиз, чем могу служить? Царский фаворит, по-видимому, был в хорошем расположении духа; надо было воспользоваться этим. Была не была!

И неунывающий маркиз наш в вкрадчиво-минорном тоне, но с неизменной развязностью начал с того, что явился-де к его эксцелленции с чистосердечным покаянием, как блудный сын к отцу родному, ибо его эксцелленция по известной доброте своей и величайшего грешника обратит в голубицу.

— Ты, любезнейший, зубов-то мне не заговаривай, — с ласковой твердостью прервал его тут Ментиков. — Простого грешника я, может, и обратил бы в голубицу, индюка же на-

вряд. Выкладывай-ка все начистоту.

И принялся тот «выкладывать». А так как фантазией и остроумием природа его не обделила, то повествование его об обмене паспортов с маркизом Лам-балем и о дальнейших его похождениях между шведами вышло прерзанимательно, хотя и очень романтично. Прержний уличный пирожник, испытавший на веку своем также немало коловратностей, пока не добрался до ступеней царского трона, просто заслушался и не раз одобрительно кивал головой.

— Та-ак, — протянул он, когда тот кончил всю исповедь. — Выходит, значит, что все твои неподобные затеи и колобродства валились на тебя, как на Макара шишки, не по собственной твоей вине, а по воле судеб?

— Оно и точно ведь так, ваша эксцеленция...

— Кого ты морочить вздумал? Полно, перестань. Ты говоришь, что пришел ко мне, как к духовнику своему. Так и не прикидывайся казанской сиротой, а признавайся по совести: есть ли во всем том, что ты намолол мне сейчас, хоть половина правды?

— Помилуйте, ваша эксцеленция! — воскликнул Иван Петрович. — Статочное ли дело, чтобы я заведомо...

— Не заведомо, а так, ради красного словца. Много ли ты, скажи, припустил от себя этих красных словечек?

— Малость разве, ваша эксцеленция, но, право же, без всякого умысла. В сути дела все верно...

— И побожиться готов?

— Могу-с: ей-же-ей так!

Иван Петрович перекрестился на божницу в переднем углу.

— Ну, верю, — сказал Меншиков. — Приложу усиленную инфлюэнцию, хоть вперед ничего не обещаю. Дабы избежать огорчительных неожиданностей и репримантов, ты лучше не показывайся его величеству на глаза, доколе не пришлют за тобою.

Спафариев стал было заявлять еще свою «чувствительнейшую признательность», но короткий прощальный кивок царедворца дал знать ему, что «авдиенция» кончена.

Глава одиннадцатая

*Ой ли, зайнька, поскачи,
Ой ли, серенький, попляши!
Кружком, бочком повернись,
Вот так, так, так!
«Хороводная песня»*

*Улыбаясь, царь повелел тогда
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш.
Лермонтов*

Давно уже смеркалось и вызвездило, когда Ивана Петровича, действительно, потребовали к царю. По случаю многорадостной okazji — взятия неприятельской передовой фортеции — Петр собрал у себя к вечернему банкету весь генералитет. Трапеза пришла уже к концу, но столующиеся еще не вставляли из-за стола, потому что обильная снедь должна была быть еще залита аликантом и мальвазией, романеей и бургонским.

Предстал Спафариев пред очи царские с внутренним трепетом, но первые же слова неумолимого в другое время венценосного

судьи разом его ободрили.

— Подойди-ка сюда, маркиз самозванный, подойди. И в голосе царя звучал не беспощадный гнев, а умеренная родительская строгость; в оживленных же чертах, в блестящем взоре просвечивала едва сдерживаемая веселость. Государь, очевидно, был бесконечно счастлив одержанной над «львами севера», почти бескровной победою и, благоволя теперь ко всем и каждому, готов был, кажется, если и не вовсе простить нашего ослушника, то ограничиться только родительским «репримантом».

Ивану Петровичу хорошо было известно, что, по придворному этикету, допущенному в царской руке обязаны были предварительно отдать троекратный церемониальный поклон, затем, приложившись, вновь трижды поклониться и, отойдя назад до выхода, проделать еще раз то же. Но пока для него не было еще и речи о такой царской милости, и он считал за самое верное, по стародавнему русскому обычаю, попросту броситься в ноги государю.

— Что ты, мусье, что ты! Стыдись! Имени-

тому маркизу валяться в ногах отнюдь не пристало! — с явным сарказмом заметил Петр. — Встань, сейчас встань! Ну? Да держись вольнее, фертом. Вот так. Теперь, мусье, повернись-ка бочком, а теперь покажи-ка нам и спину. Дай полюбоваться на тебя со всех сторон. Ай, хорош! Что, мингеры, каково вырядился? Хорош ведь, а?

— Безмерно хорош! Бесподобен! — веселым хором отозвались сидевшие кругом царедворцы.

— Американский попугай! Краше даже попугая: подлинная жар-птица! — продолжал царь в том же тоне. — Недаром ведь три года слишком в Париже проболтался.

— Виноват, ваше величество, — осмелился тут в первый раз подать голос Спафариев. — В Париже я пробыл всего год с небольшим...

— Годик всего? Мало, сударь мой, мало. Каким же кунштам, дозвошь спросить, в столь краткий срок могли обучить тебя?

Допрашиваемый, покрасневшись, с натянутой однообразно улыбкой переминался с ноги на ногу, не зная, что и ответить.

— Ну, что же? Может, хитроумным каким

танцам?

— Да... и танцам...

— Доброе дело. Хотя позабавишь мне дорогих гостей. Эй! Позвать сюда нашего лейб-флейтиста!

Иван Петрович так и обомлел. Неужто же его заставят, как какого-нибудь записного плясуна, выделять соло перед всеми этими генералами? Но долго ему, по крайней мере, не пришлось томиться неизвестностью. Не успел он оправиться, как явился царский лейб-флейтист Егор Ягунов, самородный талант, перенявший еще в Москве от заезжего концертмейстера весь его музыкальный репертуар, и Петр прямо обратился к нему с вопросом: знает ли он играть новейшие французские танцы?

— Новейшие ли то, не могу сказать, — был ответ, — но знаю монюмаск, алагрек, иначе grosfater, режуиссанс, менуэт...

— Так сыграй нам, пожалуйста, менуэт.

Лейб-флейтист приложил свой инструмент к губам, вытянул их в трубочку — и палатка огласилась мерными трелями менуэта.

— Прошу, мусье, — предложил Петр.

— Да менуэт, государь, одному танцевать не приходится... — пролепетал упавшим голосом Спафариев.

— Почему же нет? Обучал же ты, слышь, менуэту здешнюю комендантскую дочку? Коли нужно, так и со стулом вот заместо дамы протанцуешь. Ну-с?

В голосе царя слышалась та непреодолимая, непреклонная воля, противиться которой было невыносимо.

«Как тут быть? Коли танцевать, так уж по мере сил и умения», — решил Иван Петрович и стал танцевать.

Сам государь облегчил ему его многотрудную задачу, упомянув о комендантской дочке. Стула, на который указал ему Петр, он, разумеется, не трогал, но вообразив себе, что он обучает опять фрёкен Хильду, Иван Петрович брал свою воображаемую даму галантно за руку, с отменной грацией порхал с нею по палатке и в определенные темпы отвечивал ей почтительные поклоны. Вельможные зрители, приготовившиеся вслед за царем разразиться гомерическим хохотом, удивленно переглядывались и посматривали на государя.

Но Петр, опершись на спинку своего кресла, неотступно следил глазами за танцором, при этом, как казалось, не без удовольствия.

— А что, Данилыч, — вполголоса обратился он к сидевшему рядом с ним фавориту, — ведь дело-то свое молодчик знает преизрядно.

— И весьма даже, ваше величество, — отвечал тот с какой-то предательской улыбкой. — Но менуэта кто же у нас ноне не танцует? Иное вот тарантелла. Я чай, помнишь, приезжали к нам в Москву итальянцы от папы римского, плясали под тамбурин...

— Стой! Будет! — крикнул Петр с таким внушительным ударом мощной ладонью по столу, что флейтист тотчас умолк, а танцор, чрезвычайно довольный тем, что пытка его уже кончилась, сделал своей несуществующей даме глубокий благодарственный реверанс. Но радость его оказалась преждевременной.

— Знаешь ты, Ягунов, играть тарантеллу? — спросил царь музыканта.

— Никак нет-с, государь, виноват.

— Жаль, братец, жаль. Но в тамбурин-то, сиречь в бубен, все же бить умеешь?

— Само собою: не велика мудрость.

— Так сбегай-ка за ним.

Ягунов бросился вон из палатки; Спафари-ев же, едва успевший дух перевести, еще пуще оторопел.

— Тарантелла, государь, неаполитанский танец, и в Париже его народ не танцует... — начал он, растерянно, теребя рукою на груди пышные брыжи своей кружевной сорочки.

— Не народ, так балетчики на королевском театре.

— В дивертисменте разве...

— Но ты видел?

— Видеть-то видел... Но смею доложить вашему величеству, что тарантеллу пляшут обыкновенно девушки...

— Ну что ж, так изобразишь нам девушку. Что для тебя, искусника, значит?

— Да и пляшут не на голом полу...

— Подать ему мой коврик!

— И с кастаньетками...

— А вот и кастаньетки, — подхватил Меншиков, насмешливо указывая на столбец хрустальных тарелочек, поданных для десерта.

Все возражения были устранены; а тут воз-

вратился впопыхах в палатку и лейб-флейтист с бубном. Поневоле пришлось опять покориться. Взяв со стола импровизированные кастаньетки, Иван Петрович стал в позу на подостланный ему царский коврик. Музыкант ударил в бубен — и танцор пустился в пляс.

Говоря, что он только видел тарантеллу, он поскромничал: с год назад в Париже, в компании таких же «шаматонов», как и сам, насмотревшись целый вечер на тарантеллу в одном из второстепенных парижских театров и поужинав затем с приятелями в модном погребке устрицами с шампанским, они с одним из этих приятелей в порыве мальчишества воспользовались тут же устричными раковинами, как кастаньетками, подвязали себе, вместо передников, салфетки и проплясали национальный танец неаполитанцев с таким «антрёном», что вызвали между посторонними посетителями погребка бурю восторга, для усмирения которой потребовалось даже вмешательство полицейской власти. Тот первый опыт пошел ему теперь впрок.

Название свое тарантелла получила, как

известно, от тарантула, ядовитого паука, укус которого в действительности производит только сильную опухоль, подобно уколу осы. Но, по старинному поверию неаполитанцев, несчастный, укушенный тарантулом, от нестерпимого зуда и боли волей-неволей должен крутиться и прыгать, пока не докружится, не допрыгается до смерти. Нелепое поверье это особенно укоренилось там с XVII века, когда местное простонародье эпидемически страдало нервной болезнью — пляской святого Витта и по невежественности своей приписывало эту произвольную пляску действию тарантульного яда.

Спафариева также словно укусил тарантул: вначале он, как и следовало, слегка только топтался на коврике и вертелся вьюном, щелкая в такт хрустальными кастаньетками; но по мере того как Егор Ягунов ускорял темп бубна, ускорялись и телодвижения танцующего.

— Живо! Живее! — сам подзадоривал он музыканта и закружился уже волчком, выделяя топающими ногами, щелкающими руками такие быстрые, замысловатые выкру-

ни, что у зрителя в глазах зарябило.

— Живо! Живее! — повторял он, а кастаньетки и пятки так и мелькали в воздухе, в раскаленном докрасна лице так и сверкали белки глаз.

Четверть часа длился уже бешеный танец, а зрители, как околдованные, затаив дух, не могли оторвать взоров от этого стремительного вихря, куда, как водоворот, самих их будто втягивало непреодолимой силой.

Вдруг ноги у плясуна подкосились, и он как сноп грохнулся на пол. Бубен смолк, а за столом произошел легкий переполох.

— Посмотрите-ка, что с ним? — сказал Петр, насупив брови, и несколько вельможных собеседников его поспешили к распростертому.

Иван Петрович лежал, как бездыханный, без всякого движения, и только когда ему плеснули в лицо водою, а затем не без усилия поставили его на ноги, он растерянно обвел кругом глазами. Кудри сбитого на бок парика в беспорядке прилипли у него ко лбу и вискам, а вода и пот катились с его побагровевшего лица в три ручья.

— Упарился шибко! Нечего сказать: и в баню не нужно! — с прежней шутливостью заметил государь. — Чего тебе, говори: воды глоток или доброго виноградного вина?

Иван Петрович приложил ладонь к задыхающейся груди и беззвучно зашевелил губами.

— Ну, отдышись сперва, — сказал Петр. — Что там? — обратился он к ворвавшемуся в это время в палатку молодому офицеру-ординарцу.

— От наших караульчиков на Васильевском острове, ваше величество, пришла весть, что неприятельский флот показался на взморье, — отрапортовал ординарец.

— Наконец-то! — воскликнул царь с блестящими глазами и весь вострепнулся. — Кто принес весть-то?

— Преображенский сержант.

— Давай его сюда!

Сержант-вестовщик на расспросы государя дополнил рапорт ординарца существенным показанием, что всех судов «свейских» на виду девять: большой адмиральский фрегат, четыре шнявы и четыре же бота.

— Вас, караульщиков, они покуда не видели? — продолжал допытывать Петр.

— Не должно быть, надёжа-государь: наши сидят, притаясь в кустах, а те, чертовы кумовья, стали далёко — за версту от устья. Вышло у нас только сумнительство: для чего, Господь их ведаёт, с адмиральского судна два пушечных выстрела на воздух дали.

— А это лозунг их! — вмешался Шереметев. — Знать, полагают, что фортеция все еще их людьми занята. Чтобы не довелись истины, не соизволите ли, ваше высочество, и нам тоже из обоза стрелять в ответ их шведский лозунг?

— Конечно, стреляй ввечеру и поутру. А мы тем часом поразмыслим, какой над ними поиск учинить.

Фельдмаршал вышел из-за стола и из палатки, чтобы лично распорядиться пальбою. Государь же поднял бокал за столь же успешный захват неприятельского флота, как и цитадели. Нечего говорить, что царский тост был восторженно принят.

— Ну-с, мусье балетмейстер, отдышался? — шуточно обратился Петр к Ивану Петровичу,

который успел между тем не только окончательно прийти в себя, но и отереть платком разгоряченное лицо и с помощью гребешка привести в некоторый порядок свою расстроенную прическу.

— Отдышался, ваше высочество, благодарствую за спрос! — отвечал молодой человек с обычной уже бойкостью, замечая, что нависшая над ним грозная туча как будто разрядилась.

— И выпьешь здравицу не пресной уж водой, а романеей или старым бургонским?

— Ежели будет ваша царская милость на бургонское...

— Заслужил, сударь мой, заслужил. Но, как маркиз французский, не утолишься ведь одним бокальцем? Поднести ему орла!

Нет, гроза, видно, не совсем еще миновала! В Москве еще наслышался он про знаменитый царский кубок, вмещавший в себе несколько стаканов и прозванный «орлом»: в виде наказания государь заставлял выпивать его тех из приближенных, которые чем-либо ему надосадили или не угодили.

Раздумывать было уже нечего. Приняв дву-

мя руками грузный золотой кубок, налитый до самых краев, Иван Петрович опорожнил его за один дух.

— Каков ведь, а? — сказал Петр. — По части танцев и напитков ты великий, я вижу, мастер, надо честь отдать. Настолько же ли, посмотрим, профитован ты и по навигационной части?

— Не будет ли с него, государь, на первый-то раз? — вполголоса вступился тут Меншиков. — С арестантской пищи крепкая бургонья и так уже довела его, кажись, до последнего градуса.

И точно, в голове у Ивана Петровича разом зашумело, помутилось; взор его словно дымкой застлало, и самого его на ногах закачало, — ну, ни дать ни взять, как прошлой осенью во время шторма на борту «Морской чайки».

— Правда твоя, Данилыч, — согласился государь и сделал Спафариеву знак рукой. — Будет с тебя, мусье, ступай, выпись.

Тот машинально повернулся к выходу, не чуя ног под собою. Впоследствии припомнилось ему как сквозь туман, что у выхода

встретил его верный «личарда» Лукашка, что, подпираемый последним, он через весь лагерь кое-как доплелся до обывательского дома, где калмык успел добыть ему временное пристанище, и что здесь он, как был, в плаще, повалился на постель, чтобы моментально забыться мертвецким сном.

Глава двенадцатая

*Здравствуй, жизнь! Теплеет кровь,
Ожила надежда вновь...
Запах тленья все слабей,
Запах розы все слышней.
Томас Гуд*

*«Ты шутишь! — зверь вскричал коварный. —
Тебе за труд? Ах ты, неблагодарный!
А это ничего, что свой ты долгий нос
И с глупой головой из горла цел унес?»
Крылов*

Солнце зашло уже за полдень, когда Иван Петрович протер себе глаза. Голова у него опять прояснилась; только во всех суставах чувствовалась еще истома — следствие

вчерашней тарантеллы. От помогавшего ему при одевании камердинера он тут же извёлся, что и ввечеру и поутру из крепостных орудий, согласно государеву приказу, стреляли шведский лозунг, что шведский адмирал давался в обман и выслал на берег бот с солдатами и матросами за лоцманом, что засевшие в лесу на Васильевском преображенцы нагрянули было на них, но те тотчас пошли наутек, и удалось захватить одного лишь матросика, от которого и дознали, что эскадра шведская прибыла из-под Котлина на выручку Ниеншанцу и что командует ею вице-адмирал Нумберс.

— И как ты, Лукаш, все сейчас пронюхал? — заметил Спафариев, зевая и потягиваясь.

— Это-то что! — отозвался калмык. — Об этом чирикают здесь, в Шлотбурге, все воробыи на крышах. А есть у меня еще другая новость... Не знаю только, как она твоей милости покажется.

— Ну?

— По указу государеву, цитадель должна была быть очищена нынче же к восьми ча-

сам утра, и потому комендантская дочка с теткой своей убралась уже в город, а к кому — известное дело: к жениху своему, коммерции советнику.

— Ah, diable! — вырвалось у Ивана Петровича, и он большими шагами зашагал по комнате. — Нет, этому не бывать! Она не выйдет за него!

— Почему же нет? — спросил Лукашка, с тонкой усмешкой следя глазами за бегавшим взад и вперед барином. — Не потому ли, что больно свежа еще у нее память о фенрике Ливене?

Иван Петрович остановился на ходу и окинул насмешника огненным взглядом.

— Ты чего зубоскалишь? Ливен сошел уже со сцены, и память о нем порастает травой, но девушку хотят насильно сделать несчастной.

— Зачем же ей быть несчастной? Фризиус хоть и втрое ее старше, да несметно, слышь, богат, уготовит ей довольственную жизнь, а она, как добрая шведочка, будет ему жена смиренная, по хозяйству заботная...

— Нет, этому не бывать! — решительно по-

вторил Иван Петрович и топнул ногою.

— Да как же ты, сударь, тому воспрепятствуешь? — не отставал слуга. — Аль сам поведешь ее под венец?

Молодой барин вспыхнул и вскинулся головою.

— А хоть бы и так? До сего момента я, правда, не думал еще о женитьбе, но коли на то пошло...

— Ну, так я, стало, очистил тебе дорогу, — сказал Лукашка. — Памятуя твой, сударь, вчерашний приказ, я побывал уже в городе за букетцем роз...

— И добыл?

— Добыть-то добыл... Но дай рассказать все по ряду. Избегал я, почитай, все улицы и переулки, язык высунув: в паршивом этом городишке ни единого ведь цветочного магазина!

— Да у нас и в Белокаменной доселе их не завелось.

— То Россия, а это как никак немечина. Как вдруг слышу над самым ухом: «Lucien!» Глядь, ан из окошка кивает мне фру Пальмен, старушка, помнишь, экономка майора фон Конова. Ну, слово за слово, поведала она мне

наперед свое горе: рассчитал майор их всех на мызе от первого до последнего, рассчитал по-божески, просил не поминать лихом, вышел с пистолей в другую горницу...

— И пустил себе пулю в лоб?! — испуганно досказал Иван Петрович.

— Пустил бы, кабы фру Пальмен, вовремя не толкнула его под руку: пуля ударила в стену. Взяла тут старушка с него клятву — не накладывать на себя рук; но с того самого часу он заговариваться начал.

— Ах, несчастный! С чего бы это он?

— А я так смекаю, что от него же раздобыли мы для государя план Ниеншанца, ну, и загрызла его совесть, что по его-де оплошности взята крепость. Само собою, что экономке его я об этом ни полуслова.

— Так ей пришлось тоже выселиться с мызы?

— Пришлось, и сняла она тут в городе квартирку под жильцов. Вот я ей и кстати как с неба свалился. Стала она меня упрашивать перебраться к ней с господином маркизом. И взялся я обделать ей это дельце в уважение доброй приязни господина маркиза к госпо-

дину майору, буде и она тоже пособит мне в моем деле — достать букет наилучших махровых роз. Ну, а старуха на счастье великая охотница до комнатных цветов, захватила их с собой с мызы видимо-невидимо...

— Не размазывай, пожалуйста! — нетерпеливо перебил Иван Петрович. — Словом, она сделала тебе букет и ты отнес его по принадлежности?

— То-то вот, по принадлежности ли? До заднего крыльца и сеней коммерции советника пробрался я задворками без задержки. Попросил тут служанку вызвать фрёкен Хильду по экстренно-секретному делу. Не дослышала ль та меня, не посмела ль доложить племяннице помимо тетки — не ведаю, но вышла-то ко мне в сени не племянница, а тетка.

— Sacredieu! Ну, и что же?

— Букет-то был с маленький воз: спрятать его было некуда. Как тут быть! Дай-ка, думаю, презентую от имени господина маркиза самой тетке: авось, умаслим этим.

— Фюить, фюить! — засвистал Иван Петрович. — А она что же?

— Она так солнышком и просияла, словно

дали ей луидор pour boire, на выпивку, и велела от всего сердца благодарить господина маркиза.

— Нет, этого так нельзя оставить! — воскликнул Спафариев и, как угорелый, заметался по комнате.

— Ты что же это ищешь, сударь? — спросил Лукашка.

— Шляпу мою... Ах, да вот она.

— Но куда ты?

— Туда... к ним...

— Да под каким же претекстом?

— Без всякого претекста. Велю просто доложить о себе. Надо же себя ассюрировать!

— А ты, сударь, думаешь, что коммерции советник так вот и пустит волка к себе в овчарню? Он тоже хитрец и мыслец, да еще и присяжный враг русских. Хорошо, коли отъедешь только не солоно хлебавши.

— Не каркай, ворона! Может, вовсе и не нарвусь на него; а нарвусь, так я тоже, слава Богу, не червяк, который только корчится, когда на него наступят.

— А человек, который благодарит еще за честь и удовольствие, — пробормотал про себя

калмык, не смея высказаться, однако, так непочтительно вслух.

И господин его, действительно, отправился тотчас «ассюрировать» себя. Проходя городом, Иван Петрович был так поглощен мыслями о предстоящих объяснениях, что окружающие следы разрушения от вчерашней бомбардировки оставляли его совершенно безучастным. А погром был жестокий: вся вышка немецкой кирхи вместе с колоколами была снесена словно ураганом, фасад же ее, обращенный к русским траншеям, представлял вид выкорчеванного поля, из обывательских домов едва половина уцелела, другая половина сделалась жертвой пламени. Сами обыватели бродили по улицам унылые, как потерянные; на столь оживленной прежде рыночной площади не было ни одного воза, ни одной торговли; из лавчонок кругом ни одной еще не открывалось. На одном углу только стоял со своей тележкой памятный Ивану Петровичу еще с прошлой осени русский торговец яблоками; но в тележке у него были теперь уже не яблоки, время которых давно миновало, а калачи да баранки.

Торговец тотчас признал в переходящем площадь молодом щеголе прошлогоднего татоватого барища и радостно окликнул его:

— А, господин! По добру ль по здорову ль?

— Спасибо, милый, твоими молитвами, — отвечал Спафариев, мимоходом кивая ему, и поспешил далее.

Двухэтажный барский дом богача Фризиуса, как выходивший на набережную Большой Невы, откуда не было выстрелов, а может быть, и снабженный гасительными снарядами, уцелел от пожара. Но все занавески в окнах дома оказались спущены, словно затем, чтобы ничей нескромный взор не мог проникнуть внутрь, а на пороге парадного крыльца, заслоняя собою вход, стоял осанистый толстяк-привратник. От хозяина ему, должно быть, была дана совершенно определенная инструкция, потому что разряженную фигуру молодого русского он еще издали оглядывал с нахальной подозрительностью, а когда тот, решившись подойти, задал ему один и тот же вопрос последовательно на трех языках — русском, немецком и французском: «Дома ли фрёнкен Хильда Опалева?».

невежа не считал даже нужным скорчить почитительно-недоумевающую рожу, а, вздернув нос, молчаливым жестом на набережную как бы предложил: «Не угодно ли господину прогуляться?»

Протиснуться мимо этого остолопа нечего было и думать. Оставалось одно: по примеру Лукашки, пробраться с черного крыльца. Но здесь герой наш попал из дождя да в воду.

Когда он обходом с соседнего переулка добрался до ворот дома и осторожно открыл калитку, глазам его неожиданно представилась такого рода картина, что он на минуту остолбенел. Посреди двора под личным руководством коммерции советника целая армия рабочих укладывала движимость хозяина и под боковым навесом уже громоздилась целая горка забитых в дорогу ящиков и зашитых тюков. Спафариев готов был уже благоразумно обратиться вспять, когда цепная дворняга около ворот подняла вдруг громкий лай, и стоявший в калитке был замечен Фризиусом.

— Что вам нужно? — крикнул ему тот издали отнюдь не приветливо и, спустив засученные рукава, неспешно, с обычной своей

горделивой осанкой, направился через двор навстречу непрошенному гостю.

Теперь отступление было бы уже постыдным малодушием, и Иван Петрович подался также вперед. Баталия так баталия!

— Мне хотелось только на прощание засвидетельствовать мое почтение обеим фрёкен, — развязно начал он, слегка приподнимая на голове шляпу.

— К сожалению, они не могут принять вас, — сухо оборвал его коммерции советник. — Мы собираемся, как видите, в дальний путь.

— Но, может быть, они меня все-таки примут, — настаивал гость и для большей убедительности легкомысленно прибавил: — Им будет приятно услышать от меня о некоторых особых льготах, которые мне удалось выговорить у государя для жителей Ниеншанца.

Но старый воробей не дал провести себя на мякине. Скептически пошевелив бровями, Фризиус справился, какие же это еще льготы?

— О них я буду иметь удовольствие лично сообщить обеим фрёкен, — уклонился Спафариев.

— Но льготы те попали тоже в акордные пункты?

— А то как же?

— Хотя акорд был подписан еще в то время, когда вы сами сидели у нас в каземате?

Иван Петрович прикусил язык и вспыхнул.

— Так вы мне, я вижу, не верите, милостивый государь? — вскинулся он, по слабости человеческой досадуя не столько на себя самого за свою неудачную ложь, сколько на того, кто уличил его в ней.

— А вы сами, милостивый государь, поверили бы на моем месте? Summa summarum, одним словом, вам, во что бы то ни стало, надо видеть фрекен Хильду?

— Хоть бы и так!

— Так скажу уж прямо, что в отсутствие отца она никого, слышите, никого не принимает.

— Позвольте и мне на этот раз, Herr Commerzienrath, не поверить вам! Вы самостоятельно не хотите никого допустить до нее.

И в лицо коммерции советника ударила

теперь краска. Чванливо фыркнув, он обвел весь двор и рабочих своих злобным взором. Но, пересилив свой гнев, он с особенным достоинством ответил:

— Вся Швеция, начиная от короля и кончая последним нищим, верит слову коммерции советника Генриха Фризиуса!

— Да мы с вами, Herr Frisius, уж не в Швеции, а в России, и королю вашему Карлу я, простите, ни на столько также не доверяю!

Этого было уже слишком для ярого шведского патриота, пожертвовавшего для своего обожаемого короля миллионы. Он изменился в лице и дрожащей от волнения рукой ткнул гостью на калитку.

— Не угодно ли?

— А если мне не угодно? — задорно усмехнулся на это в ответ Иван Петрович.

— Если нет, то вас может постигнуть та участь, которой вы, к искреннему моему сожалению, избегли при приезде в Ниеншанц, благодаря только непростительной слабости нашего военного суда.

— Вот как! Не хотите ли вы меня среди бела дня расстрелять здесь или повесить?

— Есть и другие, более подходящие способы незаметно устранить неудобного человека.

— А именно?

— Я велю, например, моим креатурам, — Фризиус кивнул на своих рабочих, — которые мне безгранично преданы, защитить вас в мешок.

— И доставить бесплатно с остальным багажом вашим в Выборг? — досказал в том же тоне Спафариев. — Я, кстати же, еще и не бывал там...

— Нет, зачем так далеко, — отвечал Фризиус с ударением и понижая голос. — Всего на середину Невы. Там глубины до семи сажен, и мешок с привязанной пятипудовой гирей никогда уже не выплывет на поверхность.

Судя по неумолимой жестокости, с которой это было произнесено, ревнивый изверг не шутя, кажется, готов был исполнить свою угрозу. Баталия, очевидно, была проиграна; оставалось только с некоторой честью удалиться с поля битвы.

— Вы забываете, милостивый государь, — с оскорбленным видом заметил Иван Петро-

вич, — что довольно царю Петру узнать о вашей угрозе, чтобы по меньшей мере лишить вас лично некоторых из предоставленных вам льгот.

— Не из тех ли, что вы так великодушно выхлопотали для нас? — иронически отозвался коммерции советник, а затем со спокойной уверенностью прибавил: — *Roma locuta, causa finita* — Рим высказался, дело кончено. Неужели царь ваш даст больше веры зеленому ветреному юноше, чем зрелому, умудренному опытом мужу, и изменит, ради ваших пустых наветов, своему державному слову? Господь с вами! *Sapienti sat*. С разумного довольно.

Едва скользнув по «зеленому юноше» презрительно-высокомерным взглядом, победитель без поклона отвернулся от него и направился обратно к своим рабочим.

— *Sapienti sat*! Проклятый римлянин! — бормотал про себя побежденный, выбираясь за калитку.

А на сделанный ему дома камердинером вопрос об исходе его визита, с сердцем буркнул только: — Не твое дело, болван! *Sapienti*

Глава тринадцатая

*Быти грому великому! иди дождю
стрелами с Дону великого! Ту ся копи-
ем приламати, ту ся саблями по-
тручяти о шелома половецкие, на ре-
це на Каяле, у Дону Великого...
«Слово о палку Игоре»*

*Ударить отбой! Мы победили.
Довольно... Отбой!
Пушкин*

Вскоре после описанной сейчас бескровной и бесславной баталии Ивану Петровичу довелось принять участие в другой баталии — кровопролитной, и с большим уже успехом.

Нашими караульщиками на Васильевском острове было усмотрено, что от стоявшей на взморье шведской эскадры отделились два фрегата: шнява и большой бот и стали в устье Невы. По радостному возбуждению, которое весть об этом вызвала около царской палатки, Лукашка догадался, что принята резолюция — врасплох захватить неприятельские

суда, и, подкараулив царского денщика Ягужинского, он пристал к нему — сказать: так ли или нет?

— Ну да, да! Отвяжись! — был ответ.

— Нет, Павел Иванович, прости, не отвяжусь, — не отставал калмык. — Спрашиваю я не для себя, а ради самого дела. Государь, верно, умыслил обходом вокруг Васильевского острова атаковать их с моря, дабы не дать им улизнуть?

Ягужинский с удивлением оглядел вопрошающего.

— Ты что же это, братец, своей собственной смекалкой дошел?

— Не Бог весть что за мудрость. Хвост голове, правда, не указка, но, по моему глупому холопскому разумению, было бы еще вернее, кабы взять их в тиски, нагрять разом с двух сторон.

— Тебя вот только не спросили! И без того вторая партия двинется на них сверху — Большою Невою.

— Где она будет у них сейчас на виду! А я подкрался бы к ним протоком Большой Невы, Кеме, чтобы ударить им в тыл от Калинкиной

деревни.

И в нескольких словах Лукашка рассказал о том маневре, каким он с барином своим спаслись протоком Невы от погони майора де ла Гарди.

— Лишь бы лодкам вашим не сесть там на мель либо в камышах не застрять, — заключил он свой рассказ, — но кабы нас с барином взяли с собой добровольцами на тот променаж...

— Так вы провели бы до места? Что ж, пожалуй, доложу государю.

Результатом доклада Ягужинского было то, что 6 мая перед закатом солнца оба полка гвардии были посажены на имевшиеся в Шлотбурге налицо тридцать лодок-карбасов. Пятнадцать из них с преображенцами, под командой «капитана от бомбардиров», то есть самого царя, пустились вниз по Большой Неве до тоней де ла Гарди (нынешней «биржевой стрелки»), где свернули в Малую Неву вокруг Васильевского острова; вторая же партия из семеновцев, под начальством «бомбардир-поручика» Меншикова и под руководством наших двух добровольцев-лоцманов, у

мызы фон Конова завернула в реку Кеме (нынешнюю Фонтанку).

В догорающих лучах вечерней зари они плыли по течению лодка за лодкой, тихо и бесшумно, следом за передовым баркасом лихого командира флотилии. Когда они доплыли до Калинкиной деревни, расположенной на левом берегу Фонтанки при самом впадении ее в невское устье, совсем уже смерклось.

— Сиди смирно! — сказал Меншиков сидевшему рядом с ним офицеру-ординарцу и, положив к нему на плечо подзорную трубу, направил ее на взморье, где на самом горизонте, на бледно-палевом фоне неба смутно выделялось несколько корабельных мачт. — Вон и шведская эскадра. Нас здесь под берегом за темнотою, по счастью, не видать.

И он сделал распоряжение о причале флотилии к лежащему насупротив Калинкиной деревни небольшому болотистому острову, получившему впоследствии название Галерного. Когда все пятнадцать лодок нашли себе убежище в обросшем остров густом камыше, всем нижним чинам было роздано по чарке пенника и строго наказано не говорить гром-

ко, тем паче не горланить свои полковые песни; сам же Меншиков сошел на остров, где, завернувшись с бурку, расположился на разостланном ковре. Уголок ковра он милостиво предоставил Ивану Петровичу, общество которого, как бывалого туриста и салонного галана, казалось, начинало нравиться веселому царедворцу.

Тем временем Лукашка, с разрешения обоих, произвел рекогносцировку: прокравшись кустарником на противоположный берег острова, выходящий на Неву, он вскоре вернулся оттуда с донесением, что оба шведских судна ничего еще, видно, не чают, потому что стоят себе по-прежнему на якоре.

— А ты, друг, постерег бы их там до утра, — сказал Меншиков.

— Слушаю-с, ваша милость. Чуть что — дам алярм: закричу перепелом.

Зажечь костер Меншиков не решился, чтобы ненароком не обратить внимания шведов. Но, защищенный своей буркой от ночной сырости и прохлады, он охотно прислушивался к неистоцимой болтовне молодого собеседника на заграничные темы, пока, убаюкан-

ный, незаметно не задремал.

Ивана Петровича также сон клонил; но речные испарения, расстилавшиеся по земле сырым туманом, пронизывали его сквозь дорожный плащ; так что когда обутрело, он с непривычки к бивачной жизни продрог и расчихался.

— Ты что это, мусье? Еще выдашь нас! — слышалось из-под бурки сонное ворчанье.

— Виноват, ваша эксцеленция, но сырость проклятая... Чих!

— Ах, чтоб тебя нелегкая! Вот матушкин сынок! Не можешь, что ли, воздержаться?

В ответ последовало еще несколько звонких чихов. Меншиков сердито приподнялся на локоть, чтобы пуще разразиться, но вдруг приник ухом: со стороны Невы явственно донесся скрипучий крик перепела.

— Это калмык твой знак подает! Верно, неспроста. Да и то уже светает. Будет нам валяться. Вставай, вставай, ребятушки!

Прибежавший в это время впопыхах калмык донес, что на палубе шведского адмиральского корабля зашевелились, словно собираются сняться с якоря.

— Я жду еще ракеты государя, — сказал Меншиков. — Но надо быть наготове.

Участники экспедиции расселись по своим местам. Но прежде отплытия каждому была поднесена опять полная чарка; затем офицером-ординарцем была прочитана краткая молитва, а после молитвы начальник флотилии необычайно серьезным, но бодрым тоном обратился к нижним чинам с такой речью:

— Семеновцы! Вы точно так же, как преображенцы, которых ведет сам государь, конечно, и на сей раз не осрамите. Но бой будет нешуточный: мы идем на абордаж. Многим из нас, быть может, суждено пить смертную чашу. Но добрые товарищи отплатят за павших и разнесут о них славу по всей земле русской, что сложили они голову за царя, за святую Русь...

— Рады стараться! — прогудело от лодки к лодке. — Ни головы, ни живота не пожалеем!

— Тише, ребята, неравно услышит неприятель. А теперь — с Богом!

Все за начальником, как один человек, осенились крестом. Тут из-за дерев с Невы к ясноющему утреннему небу взвилась сигналь-

ная ракета и рассыпалась с треском.

— Это царь зовет нас. Вперед! — скомандовал Меншиков, и во главе флотилии карбас его двинулся в пролив между Галерным островом и материком, чтобы попасть в Неву с такой стороны, откуда неприятель никак не чаял русских.

Поспели они как раз вовремя, потому что на обоих шведских кораблях распустили уже паруса, а вокруг Васильевского острова огибала к ним флотилия государя. При свете занимавшейся зари Спафариев мог издали ясно прочесть теперь под бортами обоих шведских судов и имена их: шнява, вооруженная восемью пушками, носила название «Астрильд», а большой адмиральский бот о десяти пушках — «Гедан».

Появление одновременно с двух сторон пятнадцати больших лодок с русскими солдатами вызвало на шведских судах вполне понятный переполох: у пушек засновали канониры, по мачтам и реям замелькали матросы. Паруса стали надуваться утренним бризом, и шнява, а за нею и бот взяли курс к морю. Но глубоко сидевшие суда должны были дер-

жаться фарватера, наперерез которого плыла уже царская флотилия с преображенцами. Столкновение стало неизбежным. Шведам ничего не оставалось, как форсировать себе проход. Тяжеловесная шнява неуклюже повернулась к русским одним бортом, и одновременно из всех четырех орудий этого борта с громовым грохотом сверкнул огонь, взвился дым. Нацел, однако, оказался для низких лодок слишком высок, и все четыре ядра перелетели через головы русских. «Астрильд» стал поворачиваться другим бортом, но царские карбасы, как пчелы, облепили уже шняву, и когда с ее борта нападающих встретил ружейный залп, из лодок в ответ полетели на корабль ручные гранаты. А вот сам царь впереди всех полез на борт «Астрильда», отбиваясь топором от шведов, накинувшихся на него с ружейными прикладами...

Наблюдать далее за ходом боя на «Астрильде» Ивану Петровичу не пришлось: флотилия Меншикова в свой черед устремилась на второй шведский фрегат — «Гедан». С одного своего борта корабль этот успел также дать залп и более метко: один из русских кар-

басов шведским ядром почти мгновенно потопило; но всплывший на поверхность экипаж был тотчас подобран остальными лодками, которые затем дружно оцепили кругом неприятельский корабль. Тот же обмен убийственных приветствий ружейными пулями и ручными гранатами, а затем зычная команда Меншикова «На абордаж!» и одушевленное исполнение команды...

Когда Ивану Петровичу впоследствии приходилось говорить об этой исторической морской баталии, он, благодаря своей впечатлительности и пылкой фантазии, повествовал такие чудеса, что слушатели только уши развешивали. На самом же деле все происходило среди такого густого порохового дыма, что уследить за всеми перипетиями и мелкими эпизодами смертельного боя безучастному зрителю не было положительной возможности. И к лучшему, потому что в этом дымном облаке совершалось нечто ужасное. Выстрелы, правда, вскоре стали реже: дело, очевидно, дошло до рукопашной; но корабельная палуба трещала под ногами борющихся, а в воздухе стоял стоголосый нечеловеческий рев и

стон — адская музыка, сквозь которую звучно выделялся только голос Меншикова, подбодравший своих удальцов-семеновцев.

Герой наш, как записной охотник, хотя и давно уже привык проливать кровь, но кровь одних неразумных тварей; на человека, хотя бы и врага, у него рука не поднялась бы. Свое парижское ружье он, правда, взял сегодня с собой, но лишь на случай крайности, и когда Лукашка, зараженный примером гвардейцев, хотел было броситься вслед за ними и схватил уже со скамейки барское ружье, барин отнял его у него, а самого его насильно усадил опять на место возле себя.

— Сиди! И без тебя лишних перебьют. Господи! Неужели нельзя было обойтись без этой бойни?

Внезапно налетевшим ветром развеяло дымную завесу, и глазам их представилась такая картина, от которой у них дух захватило: Меншиков стоял на самом борту «Гедана», держась левой рукой за вант, а правой, вооруженной топором, едва отбивался от напиравшего на него с остервенением шведского морского офицера, как потом оказалось — самого

начальника адмиральского бота. Но опасность грозила ему еще с другой стороны: рядом с ним на корабельном борту вырос вдруг другой швед, ростом Голиаф, и так как мушкет последнего был уже, видно, разряжен, то он обратил его в палицу, которую занес теперь над начальником русских, чтобы раскроить ему череп.

Спафариев, в руках у которого было еще отнятое у Лукашки ружье, совершенно безотчетно прицелился, выстрелил — и Голиаф, как сраженный молнией, упал замертво. Но, падая, он палицей своей так чувствительно задел по левому плечу Меншикова, что тот выпустил вант, за который держался. Этим воспользовался командир «Гедана» для нового, решительного удара. Меншиков подался назад, оступися с края борта — и стремглав полетел с вышины в реку. Волны всплеснули и поглотили упавшего.

Но следом за ним двое из сидевших в лодке добровольно уже прыгнули в воду: Иван Петрович и Лукашка. Полминуты спустя, оба вынырнули в ста шагах ниже по течению, держа между собою утопавшего, а еще спустя

минуту, все трое были приняты в подоспевшую к ним лодку.

Тут с «Астрильда» донесся трубный призыв к прекращению боя и громогласное «ура!», на которое с «Гедана» и окружающих лодок отвечало восторженное эхо.

Победные звуки привели разом в себя Меншикова, ошеломленного, казалось, силою падения.

— Бой окончен, — сказал он, отряхивая свое мокрое платье. — Везите меня к государю!

Бой, действительно, был кончен. На «Астрильде» благодаря присутствию самого царя, повелевшего щадить раненых и обезоруженных врагов, было взято их живыми девятнадцать человек, в том числе штурман; на «Гедане» же семеновцы при виде падения в воду своего командира до того ожесточились, что не давали уже никому пощады, и все до единого защитники «Гедана» нашли себе могилу в невских волнах...

Глава четырнадцатая

Скотинин.

Хочешь ли ты жениться?

Митрофан(разнежась).

Уж давно, дядюшка, берет охота...

Фонвизин

Падает звездочка с неба,

С яркой своей высоты...

Долго ли, звездочка счастья,

В небе мне теплилась ты?

Гейне

В полдень следующего дня, 8 мая, жители Ниеншанца были вновь встревожены громовым раскатом из крепостных орудий. Но то палили уже не шведские, а русские канониры, и пальба их была не боевая, а торжественный салют царю-победителю. Вверх по течению Невы к Ниеншанцу триумфальным шествием двигалась целая флотилия, хотя и на разобранных парусах, там и сям только наскоро починенных, но расцвеченная по всем снастям разноцветными флагами: впереди шнява «Астрильд», на носу которой стоял

Петр, на целую голову возвышаясь над окружающей малорослой свитой; за «Астрильдом» — адмиральский бот «Гедан», на корме которого виднелся Меншиков среди своего штаба; а за «Геданом» — длинейший хвост победоносных царских карбасов с молодцами-преображенцами и семеновцами.

Иван Петрович вместе со своим камердинером находился на палубе «Гедана» и, опершись локтями на борт корабля, с какой-то особенной зоркостью вглядывался в пеструю толпу горожан, высыпавшую на городскую набережную. Но того или той, кого он высматривал, по-видимому, не было в числе любопытных, потому что лицо его все более омрачалось и из груди его вырвался вздох.

— О чем это, батюшка-барин? — спросил стоявший около него Лукашка. — Все вот радуются царской радости, а ты один вздыхаешь? Аль досадуешь, что его эксцеленция о сю пору и в ус не дует, спасибо тебе даже не скажет? Жди благодарности от этих роскошных царедворцев!

На этот раз калмык взвел напраслину на «роскошного царедворца». Будто что-то

вспомнив, тот отделился вдруг от своих офицеров и со всегдашней своей изящно-самоуверенной осанкой, но покровительственно улыбаясь, приблизился к Ивану Петровичу. Лукашка хотел было отретироваться, но Меншиков задержал его: «Постой!» — и высыпал ему на ладонь из кошелька горсть золотых.

— За труды твои.

Затем, кивнув головой, что может идти, повернулся к его господину:

— Что насморк твой после вчерашнего купанья?

— Благодарю, ваша эксцеленция, прошел.

— Клин клином, значит? Ну-с, сударь мой, долг платежом красён. Ты меня вчерась дважды от гибели спас, а я тебя нынче сухого из воды вытащил: его величество замыслил было по возврате в Шлотбург учинить тебе экзамен в морской науке...

— Господи, помилуй! — ахнул Спафариёв. — За всю зиму в казематном заточении у меня и книжки-то, кроме святого писания, в руках не было.

— Не полошайся, друг мой. Государю и без тебя теперь не обобратся всяких дел. По мое-

му представительство испытание тебе отсрочено на шесть недель, дабы дать тебе подзубрить забытое. Смотри же, поналяг.

— Несказанно обязан вашей эксцелленции! Поналягу. Но так как вы уже столь добросердечны, — продолжал ободрившийся молодой человек, озираясь по сторонам и понижая голос, — то у меня был бы еще одна усерднейшая просьбица...

— Знаю! — прервал Меншиков. — Отдать тебе мои лосиные рога? Изволь, возьми.

— Глубоко благодарен, но...

— Так у тебя еще что на душе?

— Одно бы словечко только вашей милости...

— Перед государем?

— Нет-с, перед... полковником Опалевым, бывшим здешним комендантом.

— Вот на! Какие же у тебя с ним еще счеты?

— Да извольте видеть... Дело весьма деликатного свойства... Мне не выйти бы живым из моего гроба, кабы не дочка комендантская, ангельское создание...

— Э-ге-ге! Да у тебя, я вижу, марьяж на уме,

и меня же сватом засылаешь?

— Будьте благодетелем, ваша эксцелленция! Родитель ее — заклятый враг русских и за русского человека добровольно ни за что бы не выдал дочки, а тут у него еще персональная злоба на меня, и стережет он дочку оком Аргуса.

— А насчет сантиментов самой девицы ты досто-должно информирован?

— Знаю, по крайней мере, что по ее благорасположению мне каждое утро кринка парного молока доставлялась, что она же прислала мне евангелие, в рождественский сочельник елку, а с первой весной букет благовонных фиалок.

— Аргументы сильные. А главное, что — собой хороша? Да что и спрашивать: «ангельское создание!» Только раздумал ли ты, друг любезный, что женитьба есть, а разженитьбы нет?

— Вечно холостым быть, ваша эксцелленция, надоест тоже.

— Холостому-то «ох-ох!», а женатому «ай-ай!» Ведь она, не забудь, чужестранка, и на Руси у нас ей, чего доброго, не ужиться, все на

родину к своим тянуть станет.

— Ваша эксцеленция! — взмолился Иван Петрович. — Была бы любовь да совет...

Меншиков рукой махнул.

— Ну, для тебя, я вижу, резонов уже нету, а расквитаться все равно надо. Родитель ее — Иоганн, Иван, а ее как?

— Фрёкен Хильда.

— Хильда Ивановна? Так нынче же купим на Хильду Ивановну добрую шелковую плетку.

— Плетку!

— А то как же? По обычаю, сперва легонько постегаем молодую, а там вручим плетку мужу, чтобы жена говернамента в доме не взяла.

И, самодовольно усмехнувшись своей шутки, вельможный сват отошел от жениха, потому что с «Астрильда» уже перебросили на берег сходни, а «Гедан» только что причалил рядом с ним.

На берегу государь был встречен всем местным православным духовенством и депутацией от горожан, по прибытии же в лагерь — всем наличным войском, которое с

восторженным «ура!», с музыкой и барабанным боем трижды продефилировало мимо царя. Затем начались сборы обезоруженного и поставленного, как уже сказано, за палисады по берегу Невы шведского гарнизона, который на следующий день отпускаясь в Выборг. Опалев лично заправлял расстановкой и нагрузкой фур, предоставленных в распоряжение шведов; Меншикову же и несколькими его офицерам были вынесены стулья к палисадам, откуда они могли на покое наблюдать за действиями шведов.

Наблюдать издали за ними или, вернее сказать, за одним только Опалевым и Иван Петрович, который не мог дожидаться, когда Меншиков вступит наконец в секретные совещания с непреклонным отцом фрёкен Хильды.

Ага! Вот оно: Опалев подходит с сухим поклоном к Меншикову. Судя по жестам, по выражению лица, он требует повидаться в городе с дочерью. Меншиков в свою очередь с отменной вежливостью также о чем-то просит — без сомнения, познакомить его с красавицей-дочерью господина полковника. По-

следний, по-видимому, не совсем охотно, но все же снисходит на просьбу. По знаку Меншикова к ним подкатывает «приватная» рессорная коляска его эксцелленции, почти всюду следовавшая за ним на походе и стоявшая уже опять наготове, и оба недавних врага дружелюбно усаживаются в ней рядом.

«И как это у меня тогда язык не повернулся признаться, что у нее есть уже жених, выбранный самим родителем! — мучился Иван Петрович запоздалыми угрызениями совести, глядя вслед отъезжающим. — Но Меншиков, пожалуй, отказал бы тогда в своем содействии. Ну, заварил же я кашу! Как-то расхлебую?»

А расхлебывать ее пришлось ему не далее как через полчаса, когда прибежавший за ним вестовой потребовал его к Меншикову.

— Путаник ты, путаник! Спасибо, удружил! Несмотря на укоризненный тон высокого свата, по сквозившему в живых глазах, в подвижных чертах его лукавому выражению «путанику» нашему нетрудно было догадаться, что тот вовсе не так уж разгневан, а хочет только потомить его немножко.

— Ежели я кое-что, может, и не досказал либо перепутал, — начал оправдываться Иван Петрович, — то единственно от сердечного конфуза и амбара, и ваша эксцеленция не поставит мне сего в чрезмерную вину...

— Да меня-то, мусье, скажи, пожалуй, за что ты в конфуз и амбара ввел?

— Чем-с? Не томите, ваша эксцеленция, скажите напрямик: согласна она или нет?

— Напрямик? Изволь: она не долго поломалась, но с братом ее мне порядком пришлось повозиться.

— С отцом ее, хотите вы сказать?

— Нет, с братом, потому что фрёкен Хульда приходится ему не дочерью, а сестрою.

— Но речь же у нас, Бог ты мой, не о фрёкен Хульде, а о фрёкен Хильде? — возражал Спафариев, у которого от какого-то ужасного предчувствия сердце захолонуло и на лбу проступил холодный пот.

— Такой и нет вовсе: есть fru kommercerodinna Frisius, рожденная froken Hilda Opaleff.

Иван Петрович совсем обомлел.

— Ваша эксцеленция изволите издеваться

надо мною? — пролепетал он.

— И в мыслях не имею. Со вчерашнего вечера она самым законным образом повенчана с здешним первым толстосумом, коммерции советником Фризиусом.

Бедный молодой человек схватился за голову, точно она могла сбежать у него с плеч.

— Да тебе-то о чем тужить, друг мой? — с притворным участием заговорил опять Меншиков. — На твою ягодку куда иных претендентов не заявилося. Правда, выбору твоему нельзя не подивиться. Но на вкус и цвет товарищей нет.

— Ваша эксцеленция о какой еще ягодке говорите?

— Как о какой? Все о той же фрёкен Хульде. Ягодка, конечно, не первой молодости, но тем с твоей стороны достохвальней...

— Да об ней у меня никогда и думано не было!

— Вот на! Ведь чем, скажи, твое сердце так пленилось: парным молоком, елкой да фиалками?

— Да-с.

— Ну, а те посылались тебе почтеннейшей

фрёкен Хульдой. Племянница о том и знать не знала.

Ивану Петровичу сдавалось, что его спустили с лучезарных заоблачных высей кувырк-ом на темную, пыльную землю.

— Но на полотенце ее стояли литеры Н.О., то есть «Hilda Opaleff»? — пробормотал он, хватаясь, как утопающий, за соломинку.

— А «Hulda Opaleff» ты изобразил бы какими литерами? — спросил Меншиков, которого немало, казалось, потешало душевное смятение молодого человека. — Вижу я теперь, сударик мой, что ты маленько маху дал: борова за бобра купил. Но коли на то пошло, то от борова в хозяйстве даже больше проку. Фрёкен Хульда уже не ветреная юница и тебе, ветрогону, подпешит крылья, добра же за нею, движимого и недвижимого, вдвое, слышь, противу племянницы...

— Да на что мне ее добро, когда своего-то девать некуда! — вскричал Спафариев в полном уже отчаянии. — Смилуйтесь надо мною, ваша эксцеленция: развяжите меня с нею!

— Что ты, батенька? Сватался-сватался да и спрятался? И меня-то, скажи, свата своего, в

какую позитуру перед нею поставил? Натворил бед — неси и ответ.

У Ивана Петровича проступили на ресницах слезы; он безнадежно поник головой и, вынув платок, принялся усиленно сморкаться. Чтобы не выдать своей веселости, Меншиков говорил до сих пор отрывистым, ворчливым тоном, с насупленными бровями и покусывая губы. Доведя молодчика до слез, он достиг, чего желал, и расхохотался.

— Фофан ты, фофан! В рай за волоса не тянут. Развяжу я тебя, так и быть, но под одним уговором.

— Под каким угодно, ваша эксцеленция! — встрепенулся Иван Петрович, поспешно отирая глаза.

— Фрёкен Хильду, — то бишь коммерции советницу, — как фантом, ты выкинь навеки уже из головы.

— Трудновато станет...

— Без рассуждений! А дабы крепче было, так мы тебя сочетаем в ближайший срок с коренной землячкой.

Спафариев испуганно уставился во все глаза на неугомонного свата.

— У вашей эксцелленции есть уже таковая для меня на примете?

Меншиков усмехнулся.

— А тебя опять страх взял? Что ж, найдется, пожалуй, ежели поискать хорошенько.

— Чувствительнейше благодарен! Но лучше я сам уж поищу себе.

— Ищи, Господь с тобой. Но, чур, повторяю, не иначе, как православную россиянку.

— За долг почту-с.

— А лосиные рога у меня можешь взять: они будут хоть напоминать тебе о нашем уговоре.

Этим кончилось сватовство нашего героя. Выбравшись за порог своего вельможного свата, он перевел так глубоко дух, словно вырвался из пекла. От заданного ему там пара голова у него огнем горела, а на теле не осталось сухой нитки.

Спустя двадцать четыре часа он видел свое «ангельское создание» в последний раз. Загодя забравшись с Лукашкой в так называемый комендантский парк по Выборгскому тракту, он отсюда, под прикрытием деревьев, мог быть невидимым свидетелем отбытия шведского

гарнизона. Нескончаемою вереницей тянулись мимо него нагруженные подводы, сопровождаемые плачущими толпами горожан. Это была также своего рода похоронная процессия, потому что ниеншанцы расставались безвозвратно не только с охранявшим их десятками лет войском, но и с некоторыми из именитейших своих сограждан. В числе последних был, конечно, и коммерции советник Генрих Фризиус, который как горячий шведский патриот ни одного лишнего дня не хотел дышать одним воздухом с ненавистными ему «скифами» и большую часть своего имущества брал с собою; остальное же все распродал накануне с молотка.

— Да где ж они, однако? — говорил Иван Петрович, тщетно высматривая между переселенцами семейство Опалевых. — Ни их, ни этого Фризиуса.

— А я так смекаю, — отозвался Лукашка, — что комендант, как шкипер на тонущем судне, сходит с палубы своей последним.

И точно: уже в самом конце скорбного кортежа показалась громоздкая, но необычайно солидная дорожная карета коммерции совет-

ника, в которой, кроме него самого с молодою супругою, помещались и тесть его с сестрою.

— Наконец-то! — вскричал Спафариев и, не утерпев, выскочил на дорогу и замахал шляпой.

В ответ ему из опущенного окна кареты замахала платком маленькая ручка. Но тут высунулось сердитое лицо Фризиуса и вслед затем задернулось зеленой занавеской.

— Закатилось красное солнышко, затуманилась ясная зоренька! — нараспев с пафосом заметил калмык своему господину, который как истукан окаменел на одном месте. — А теперича опять во львиную пасть!

— Откуда ты еще льва-то взял? — спросил Иван Петрович, не отрываясь глядя за удаляющимся по дороге облаком пыли.

— А царь-то наш Петр Алексеевич, по-твоему, не державный лев, что ли? Лев милостивый, но и грозный. И доколе экзамена своего не справишь, не выбраться нам из его пасти.

Глава пятнадцатая

*Довольно, Ванюша! гулял ты не мало;
Пора за работу, родной!*
Некрасов

*Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.*
Пушкин

Тяжелая пора настала для Ивана Петровича. Предусмотрительный камердинер его при отъезде год назад из Парижа упаковал на дно одного из многочисленных их дорожных сундуков пачку учебников и ландкарт, заброшенных еще со времен Тулона и Бреста. Теперь вся эта кipa неожиданно всплыла снова на свет Божий к немалой досаде барина, который обольщал себя надеждой, что ему не придется готовиться к царскому экзамену.

— И дернула ж тебя нелегкая тащить эту чепуху с собою! — буркнул он на калмыка.

— А как же мы обошлись бы без нее, коли это точно чепуха, а не высокая мудрость? — заметил Лукашка.

— Как? Весьма даже просто. Здесь, в Ниен-

шпанце, сего сорта книжек, кроме разве шведских, конечно, не найти, на нет и суда нет.

— Но ведь за морем-то за три года из прочтенного да слышанного кое-что сохранилось же в голове?

— Во-первых, не за три, а за два года; а во-вторых, в другие два столь же успешно испарилось опять из головы.

— Не испарилось оно, а лишь засорилось там, быльем поросло. А мы вот повыполом сорные травы да засадим все грядки свежей рассадой, так увидишь еще, каким пышным цветом старые семена взойдут! Садись-ка, сударь, чтобы времени попусту не тратить. Вот тебе стул, вот твои книжицы...

— А ты сам-то что же тем временем? Гулять никак считаешь?

— А что же мне делать-то?

— Нет уж, шалишь, брат! На миру и смерть красна. На-ка тебе тоже книжицу — и ни с места от меня.

Камердинер послушно взял книгу и тихонько про себя засвистел: очень уж хорошо понял он, для какой цели барин оставил его

при себе.

«И что они делают там? — любопытствовала их квартирная хозяйка, фру Пальмен, потому что Иван Петрович действительно перебрался на жительство к почтенной экс-экономке фон Конова. — Замыкаются на ключ и выходят оттуда только к столу. Уж не фальшивые ли монетчики, прости Господи?!»

Напрасно, однако, прикладывалась она ухом к замочной скважине: предательского звяканья металлических денег не было слышно; раздавался четко только голос Люсьена, точно поучающий, проповедывающий; а когда временами заговаривал и сам маркиз, то как-то ученически-неуверенно, и камердинер наставительно тотчас перебивал его.

«Что за притча? — недоумевала старушка, совершенно сбитая с толку. — Не обучается же господин у слуги! Это что-то совсем уж нестаточное, срам и стыд...»

Но раз как-то, когда на осторожный стук ее в дверь и доклад тоненьким голоском, что обед-де господину маркизу подан, не последовало ответа, фру Пальмен взялась за ручку двери — и дверь растворилась: в разгаре сво-

их секретных рассуждений те забыли, видно, даже повернуть ключ в замке. И что же представилось тут ее изумленным взорам?

Оба — маркиз и слуга — стояли наклонясь над большущей морской картой, разложенной на столе. Первый водил по карте указательным пальцем и говорил что-то вопросительным тоном, словно плохо затверженный урок; второй же укоризненно прерывал его и проводил ногтем в другом месте карты.

Фру Пальмен на цыпочках снова отретировалась за дверь, чтобы постучать вторично, уже громче прежнего. Теперь стук ее был услышан. Но, как ни была она озадачена сделанным открытием, как ни чесался у нее язычок, однако ни единая живая душа в Ниеншанце не узнала от нее ни словечка, потому что открытие ее было слишком чудовищно и могло вконец уронить ее высокородного постояльца в глазах местных кумушек, которым она за чашкой кофею все уши про него уж прожужжала. Ведь во всем прочем господин маркиз был бесподобен: нанял квартиру со столом не только не торгуясь, но набавил еще от себя двадцать крон в месяц за лишнее блю-

до; с нею был всегда вежливо-почтителен, как с настоящей дамой, упросил ее даже обедать вместе с ним «для компании», наливал ей собственноручно своего дорогого испанского вина — дреймадеры, а главное — не только сам рассказывал и шутил презабавно, премило, но умел и слушать, а это фру Пальмен ценила еще чуть ли не выше, потому что, набрав поутру у добрых кумушек с три короба городских новостей, она должна же была перед кем-нибудь их опять высыпать, чтобы душу отвести.

Ивана Петровича эти новости, по большей части местного характера, в иное время оставили бы совершенно равнодушным, но теперь они являлись освежительным дуновением среди сухой научной Сахары; а некоторые «нுவоте» представляли для него и животрепещущий, «родной» интерес.

Так, на другой же день по отбытии шведского гарнизона в Выборг, после благодарственного молебна в царском лагере, происходило особое торжество: старший из наличных кавалеров российского ордена Андрея Первозванного, Головин, возложил знаки то-

го же ордена на двух главных виновников славной морской баталии — самого царя Петра и первого сподвижника его Меншикова.

Следующие дни государь объезжал все рукава Невы до взморья, выбирая на островах место, где бы заложить новую фортецию, ибо ниеншацкая цитадель слишком-де отдалена от моря и вражеский десант мог бы, чего доброго, укрыться в невских устьях, не стань мы, русские, ближе к морю твердою ногою.

И вот 14 мая выбор Петра пал на маленький пустынный Заячий остров, Иенисари, или, как называли его местные немцы, Люст-Эйланд (Веселый остров). И было ему тут чудесное явление, как бы указание свыше: едва лишь дошел царь до середины острова, как над головой его, царя людей, откуда ни возмись взвился царь пернатых, орел. И, взяв у солдата багинет (штык), вырезал государь два куска дерна и положил крестом; после чего топором своеручно вырубил из дерева крест, водрузил его в дерновый крест и провозгласил:

— Во имя Иисуса Христа, быть на сем месте церкви во имя верховных апостолов Пет-

ра и Павла!

Засим, перейдя через проток на Березовый остров, Койвисари (нынешняя Петербургская сторона), государь назначил его для нового города, топором отметил в двух местах на ракетах, где быть церкви «Живоначальные Троицы» и где его государеву дворцу.

С другого же дня, 15 мая, несколько рот солдат приступили к вырубке и очистке от деревьев и кустарника Березового острова под будущий город, причем усмотрели в чаще и гнездо вышереченного орла.

Все это передавалось, конечно, не по-русски, а на ломаном немецком языке, но приблизительно в таком же приподнятом тоне, потому что фру Пальмен, несмотря на свой довольно преклонный уже возраст, легко еще увлекалась и, не скрывая некоторой горечи, когда речь заходила об успехах русского оружия, не могла, однако, втайне не поклоняться мужественной, величественной красоте молодого царя.

Надо ли говорить, что все эти вести из русского лагеря живо интересовали обоих постоянцев болтливой старушки? В течение це-

лой недели, впрочем, Лукашке удалось держать взаперти своего господина, который так и порывался к манившей за окнами кипучей жизни.

Но вот поутру 16 мая, едва погрузились они в свои учебники, как внимание Ивана Петровича было отвлечено совсем необычным движением на улице.

— Ты, сударь, только краем уха слушаешь, — укорил его калмык, сам, однако, невольно оглядываясь на опущенную штору открытого окна.

— Не пожар ли уж? — сказал Иван Петрович, вскакивая со стула.

Но когда он приподнял штору, одного взгляда на валившую мимо окна, смеющуюся, разряженную толпу было ему довольно, чтобы убедиться: спешат они не на пожар, а на какое-нибудь небывалое торжество.

— Куда вы, братцы? — окликнул он ватагу мужичков, в которых по их типичным лицам и одежде тотчас признал великоруссов.

— Эвона! Аль не слышал, что батюшка-царь ноне царствующий град себе закладывает? — отозвался один из мужичков, огля-

дываясь на ходу на стоявшего у окна. — Неведомо еще только, как его наречет.

— Sapristi! А мы тут чуть было не прозева-
ли.

— И то прозеваешь, коли мигом не сбе-
решься: суда государевы, слышь, тронулись
уже к месту.

— Одеваться, Лукаш!

На этот раз наставник-камердинер уже не
возражал: очень уж занятно самому ему было
присутствовать при столь единственной ока-
зии — закладке нового города.

Никогда еще, кажется, туалет Ивана Петро-
вича не поспевал так быстро, как сегодня. Де-
сять минут спустя они бегом приближались
уже к невскому перевозу, где среди давки и
перебранки места на яликах брались с бою.
Благодаря лишь бесцеремонности Лукаш-ки,
расчищавшего путь локтями и властно требо-
вавшего пропуска своему «князю», они завое-
вали себе два местечка в одном ялике, пере-
полненном уже «чистою публикой» из горо-
жан и горожанок шведской национальности.
Последние было возроптали, потому что в
тесноте и спешке им помяли не только бока,

но и пышно накрахмаленные юбки.

— Что? Что? Dunder och granater! — огрызнулся Лукашка. — Вот ужо, погодите, зарядят вас в пушку да во славу царскую и выпалят.

Одновременно отчалило несколько яликов и двинулось вперегонку к Заячьему острову. Там по прибытии пошла опять та же передрага. Против части берега, которая была расчищена накануне от кустарника, плотно теснились друг около дружки царские суда; обывательские же лодки вынуждены были приставать ниже по течению, где первобытная лесная глушь оставалась еще нетронутой. Каждой из вновь прибывших лодок хотелось пробиться вперед, последствием чего было общее их столкновение, треск деревянных бортов, крупная мужская брань и пронзительный женский визг.

Тут сквозь чащу донеслись стройные звуки церковного клира, и, как по волшебному мановению, весь шум и гам разом смолк.

— Служба-то зачалася! Голубчики, родимцы мои, вылезайте на берег, что ли, ради самого Создателя! Главное-то как раз и упустим... — слышались с разных сторон жа-

лобные голоса, и дальнейшая высадка произошла хоть и спешно, но миролюбиво.

Когда Иван Петрович с камердинером своим добрались до места, литургия, действительно, близилась уже к концу. Совершавший службу соборне с местным духовенством митрополит новгородский Иов, нарочно вызванный для этого из Новгорода, говорил последние слова молитвы «на основание вновь создаваемого града», после чего окропил святою водою сперва царя с генералитетом, а затем и выстроенные кругом шпалерами войска, и напиравших сзади плотною массою простых зрителей. Не имея физической возможности, даже при содействии Лукашки, протолкнуться сквозь эту живую стену, Спафариев, однако, благодаря своему высокому росту, мог довольно свободно поверх малорослой толпы видеть все, что происходило внутри оцепленного войском круга.

Взяв заступ, государь для почина стал первым рыть землю в том месте, где должен был пролегать будущий крепостной ров. Под могучею рукою царя-великана тяжеловесные земляные глыбы выбрасывались вверх, как ма-

лые комья, и громоздились одна над другою.

— Экой силище-то Господь наградил! Хоть бы нашему брату под стать! — говорил с непритворным восхищением стоявший около Ивана Петровича рослый, плечистый мужчина, в котором по всему не трудно было угадать землекопа.

По примеру царя, и генералы его волей-неволей взялись за лопаты, но куда не с такою ловкостью, и потому вскоре уступили место более привычным к делу нижним чинам. Когда глубина рва достигла двух аршин, в него был опущен четырехугольный каменный ящик. Высокопреосвященный Иов, с молитвой освятил ящик водою, а Петр вложил в него золотой ларец, с каменного крышкой, накрыл ящик сверху вырезанными им перед тем тремя кусками дерна и, осенив себя крестным знаменiem, громогласно возгласил:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь! Основан царствующий град Санкт-Петербург.

А был тот опущенный в ров золотой ларец, — как разнесла тотчас кругом стоустая молва, — ковчег с мощами святого апостола

Андрея первозванного, на каменной же крышке ковчега была высечена такая надпись: «От воплощения Иисуса Христа 1703, мая 16-го, основан царствующий град Санкт-Петербург великим государем, царем и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем Всероссийским».

Выразительные черты Петра, сияя гордою радостью, казались еще прекраснее, и сияние это отражалось на лицах всех окружающих: и генералов, и солдат, и народа. Митрополит с духовенством и царская свита обступили теперь государя, чтобы принести свои верно-подданические поздравления.

В это самое время в вышине, на безоблачном, лазурном фоне неба, выделился парящий орел; а со стоявших на берегу судов началась усиленная пушечная пальба, на которую из Ниеншанца отдаленным эхом не замедлили отвечать крепостные орудия.

Минута была так торжественна, всякий из зрителей и действующих лиц был одушевлен таким неподдельным восторгом, что недоставало только сигнала для общего ликования. И Иван Петрович подал этот сигнал; по своей

неудержимой, легко воспламеняющейся натуре он первым крикнул: «Ура!» — и крик его был единодушно подхвачен всею многотысячною толпою от мала до велика.

— Ура! — старался Иван Петрович перервать неумолкавший кругом гул народный и в избытке патриотизма бросил на воздух свою шляпу.

Петр глянул в его сторону и на мгновение остановил на нем свой огненный взор. Молодой человек еще восторженнее загорланил.

Тут резким диссонансом в ликующем хоре за спиной Спафариева раздалась звонкая пощечина, а за пощечиной сдержанный вопль. Он сердито оглянулся. Как два боевых петуха, готовые сцепиться, стояли друг против друга Лукашка и какой-то мозглявый, но довольно приличный на вид ремесленник из финнов.

— Пикни у меня еще, окаянный пес, так я тебе всю скулу разворочу! — фыркнул калмык на своего противника, левая щека которого от тяжелой руки его заметно вздулась и как жар пылала.

— За что ты это его? — укоризненно спросил Иван Петрович камердинера.

— Да как его, помилуй, не бить, — был ответ, — негодивец, брешет, будто орел вон приручен был еще королевскими солдатами и опосля пущен ими на волю.

— А, может, оно и точно правда?

— Хоть бы и была правда, так не все выговаривать пригоже. Прилетел же орел сюда нынче во всяком разе не по заказу, а яко бы от себя, по высшему произволению. Однако ж берегись, сударь, как бы нас с тобой не оттерли!

В самом деле, государь, предшествуемый духовенством, двинулся со свитой в глубину острова к протоку, отделяющему Заячий остров от Березового, и народ такою бурною волной хлынул вслед, что прорвал бы цепь рослых царских гвардейцев если бы те не пустились в ход прикладов.

Локти Лукашки действовали между тем настолько успешно, что ему с господином его удалось протесниться до смой охраны. Так им достались в публичке «первые места», с которых им с полным уже удобством можно было видеть закладку царем второго крепостного рва, а затем и крепостных ворот между двумя

раскатами.

Срубив топором две стройные, высокие безрезки, Петр сплел их кудрявыми вершинками и утвердил в пробитых в земле, по указанию инженер-генерала Ламберта дырках.

— А что, Лукаш, — заметил Иван Петрович вполголоса калмыку, — видали мы с тобой в Европе всякие триумфальные арки, а по натуральной красоте все они, поди, не чета этим простым зеленым воротцам, сооруженным самим государем. Только бы еще орла всероссийского на вышку...

Глядь — паривший до сих пор в небесах орел стал спускаться ниже-ниже, пока не опустился на самые ворота. И государь, и его приближенные, и войска, и народ — все были поражены и загляделись на царя птиц.

— Знамение! — передавалось кругом из уст в уста.

— Кто из вас, ребята, снимет мне его? — спросил Петр, озираясь на стоявших под ружьем гвардейцев.

— Я сниму! — неожиданно вызвался вдруг позади цепи Иван Петрович и, насильно протолкнувшись вперед, выхватил мушкет у

ближайшего солдата. — Дай-ка сюда.

Небывалое самоуправство «штафирки» в присутствии самого государя до того озлобило владельца мушкета, что тот схватил Ивана Петровича за горло и тут же, пожалуй, задушил бы, если бы царь, сверкнув на обоих гневным взглядом, не остановил забывшегося солдата властным знаком руки:

— Стой! Я сам с ним уже расправляюсь.

Затем, обернувшись к выступившему между тем вперед другому гвардейцу, бравому ефрейтору, Петр спросил значительно мягче:

— Так ты, любезный, берешься снять мне орла и без большого лиха?

— Берусь, государь.

Почти не целясь, ефрейтор спустил курок. Орел на воротцах пошатнулся и, беспомощно трепыхаясь подбитым крылом, слетел, кружась, вниз. Не коснулся он еще земли, как подскочивший стрелок на лету подхватил его и поднес царю.

— Что, жив еще? — спросил тот.

— Живехонек, — был ответ. — Изволишь видеть: только крыло подшиблено; сальцем смазать — в два дня заживет.

— Молодец!

— Ради стараться для твоей царской милости!

— Имя твое ведь Одинцов?

— Одинцов, ваше величество.

— Под Шлюшеном за примерною перед другими храбрость ефрейтором пожалован?

— Точно так, под Шлюшеном, да не столько почитай за храбрость — кто же, государь, из гвардейцев твоих не храбр? — сколько милостью твоей царской.

— Молодец! — повторил Петр. — Стой за товарищей, и ни Бог, ни царь тебя не забудут. А как вернешься нынче в лагерь, так толкнись-ка к полковому казначею да потребуй себе моим именем десять рублей.

Говоря так, царь перевязал раненому орлу ноги платком, чтобы не улетел, и, надев перчатку, посадил его себе на руку.

Когда он тут поднял взор, на глаза ему попался Иван Петрович, стоявший еще арестантом между двумя гвардейцами.

— Поди-ка ты теперь сюда.

Тот подошел и замер, ни жив, ни мертв.

— С ума ты, сударь мой, спятил или младе-

нец ты неповитый? — продолжал государь, видимо сдерживая новый прилив гнева. — Не слышал ты, что ли, что отнять силою оружие у солдата при исполнении им служебного долга — такая продерзость, за которую военному человеку один конец — пуля, а вашей братье — петля, при особой же милости — ссылка туда, куда ворон костей не заносил?

— Виноват, ваше величество... но все от неодолимого желания сделать вам угодное, — пробормотал молодой человек, растерянно потупясь перед искрометным взором царским. — Я стреляю без промаха.

— Особливо ж ручных лосей? — досказал Петр.

В строгом голосе его можно было уже слышать игривую ноту, и бывший тут же Меншиков счел момент наиболее удобным, чтобы вернуть свое веское слово.

— Не одних лосей, государь, — сказал он, — а и врагов для спасения ваших верных слуг: без его меткой пули меня, вернейшего вашего слуги, не было б в живых. Коли молодчик давеча проштрафился, так истинно, как говорит он, от излишнего, не по разуму усердия.

— А за усердие, думаешь ты, не казнят, кольми паче в столь радостный для нас час? — добавил Петр, окончательно умиротворенный заступничеством любимого вельможи. — Ну, что ж, мусье, поклонись ходатаю твоему Александру Данилычу в ноги, а ввечеру, так и быть, за твое отменное усердие пожалуй к нашему столу: и про тебя, может, еще куверт найдется.

Вместо ожидаемого громового удара — да полное солнце! Ослепленный, ошеломленный, Иван Петрович не нашелся даже поблагодарить государя, который предложил теперь владыке начать литию. По окончании же литии и освящении временных ворот Петр, впереди всех, с орлом на руке, прошел через ворота, чтобы направиться обратно к своей яхте.

— Что же ты меня, братец, не поздравишь? — говорит Спафариев своему калмыку, которого от избытка чувств придал бы к сердцу.

— С чем поздравить-то? — отозвался тот со вздохом. — Что закружишься снова в вихре всяческих веселий?

— А тебе жаль, дурак, что после бочки дегтя перепадет барину ложка меда?

— Не меда жаль, а дегтя, которого скоро вдвое еще подбавится.

— Ты об экзамене опять? Небось! Авось, тоже увильнем.

— Авось да небось — хоть вовсе брось. От экзамена царского, как от страшного суда, ни крестом, ни пестом не отмолишься.

— *Silencium!* Сиречь, цыц! Ни гугу!

Глава шестнацатая

*Корова наконец под седоком свалилась.
Не мудрено: скакать корова не училась.*

Хемицер

Карету мне, карету!

Грибоедов

Опасение Лукашки, к сожалению, вполне оправдалось. Допущенный к парадному царскому столу, господин его хотя и занял место в конце стола между самыми юными придворными чинами, но своею остроумною болтовнею и неисчерпаемыми анекдотами из па-

рижской бульварной жизни так очаровал их, что к концу пиршества, затянувшегося до двух часов ночи, каждый из собеседников выпил с ним «брудершафт» — на «ты». Последствием этого было то, что предвидел калмык: день за днем барин его проводил уж с своими новыми друзьями, а когда камердинер позволял себе намекать на предстоящий «страшный суд», Иван Петрович делал вид, что не слышит или же, не взглядывая, ворчал себе под нос:

— Надоел, право, хуже горькой редьки! У меня теперь есть что и поважнее.

— Что же такое?

— А хоть бы постройка дворца государева.

— Да ведь не тебе же, сударь, поручена?

— Не мне лично, так добрым приятелям моим, а поспеть работа должна к сроку. Так как же не пособить им?

— Елейными речами умаслить машину?

— Ну, да, да! Отстань.

На Березовом острове, действительно, шла самая спешная работа: весь берег острова по Большой и Малой Неве был выровнен и очищен от леса, который тут же тесался на брев-

на и доски для нового царского дворца. 26 мая строение было уже под крышей. По малым своим размерам и незатейливости совершенно во вкусе Петра, оно, правда, гораздо более походило на простой обывательский дом, чем на царские палаты, причем теряло еще от соседства раскинутых по сторонам его двух больших нарядных шатров, предназначенных для генералитета и сделанных из персидского шелка, а внутри устланных дорогими коврами.

28 мая могло состояться и самое освящение нового дворца, наименованного «Петровым домом» — «Петергофом». По окроплении здания святою водою государю были поднесены: духовенством — образ Живоначальной Троицы, а царедворцами, с Меншиковым во главе, — хлеб-соль на золотых и серебряных блюдах, а также разные драгоценные подарки; после чего произведена была троекратная пальба: палила стоявшая «в параде» около дворца гвардия, палила подвезенная сюда же артиллерия, палили боевые суда на берегу, палили наконец с Заячьего острова крепостные орудия, установленные на новых раска-

тах.

«Царское величество в великом был обрадовании (докладывает современный хроникер), всех поздравлявших благодарил, жаловал к руке, а потом приказною водкою, и изволил сесть кушать с ликом святительским в новом дворце, потом изволил выйти и кушать в шатре с генералитетом и статскими знатными чинами».

В третьем часу дня столующих неожиданно салютовали троекратными же выстрелами две шнявы и яхта, нарочно прибывшие из Шлиссельбурга по распоряжению тамошнего губернатора Меншикова. Петр был видимо тронут.

— Спасибо, мейн герц! — сказал он, целуя своего фаворита. — Идем-ка сейчас, осмотрим твои кораблики.

И, переправясь на шлюпке на один из «корабликов», он со всею флотилией проплыли мимо вновь заложеной крепости, откуда их приветствовали громом орудий. С флотилии, разумеется, отвечали тем же. По возвращении же во дворец Меншиков от лица всего русского народа принес поздравление царю с

русским флотом на Балтийском море; после чего пир возобновился с новым оживлением и продолжался до глубокой ночи.

Увы! Для Ивана Петровича то был последний безоблачный день на берегах Невы.

На следующее утро он был поднят с постели двумя часами ранее обыкновенного: царь неожиданно потребовал его к себе со всеми его учебными книжками, планами и ландкартами.

— Ah, mon Dieu, топ Dieu! — бормотал про себя совсем упавший духом Иван Петрович, наскоро одеваясь при помощи своего камердинера. — Как же это так вдруг? Меншиков обещал же мне шесть недель сроку, а тут не прошло и трех недель...

— А вот поди-ка-сь, поторгуйся с царем! — отозвался Лукашка. — Да все равно, ведь и остальное время даром прогулял бы.

— Ну, что же, головы с плеч не снимет! Только вот что, брат Лукашка: ты меня не выдай, ты войди со мной, да так и не отходи ни на шаг, и чуть что — подскажи.

— Ну, уж не поскорби на меня, батюшка-барин, но я тоже не о двух головах, и сде-

лать этого не посмею.

— Как не посмеешь, болван?! Если я тебе приказываю?

— Приказывай, не приказывай, но коли приказ твой идет против воли Божьей и царской...

— Ты еще разговаривать! — вспыхнул барин. — По воле Божьей и царской ты бессловесный раб мой. Так или нет?

— Так-то так...

— А коли так, то я тебя, раба, как вот этот башмак свой, могу не только что отдать перво-му встречному, но и исковеркать!

— Воля твоя, сударь...

— А моя, так, что прикажу, то ты за долг святой полагать должен. Перед Богом и царем не ты, а я ответчик. *Sapienti sat!* — как говорит Фризиус, *punctum*, точка!

Что оставалось «бессловесному рабу» после такого категорического разъяснения, как не поставить точку и делать по приказу? Поэтому, когда он вслед за своим господином был впущен в государеву палатку (Петр ночевал еще по-прежнему в шлотбургском лагере), чтобы сложить там свой научный груз,

калмык не торопился отойти от стола, на котором развернул принесенные с собою планы и ландкарты.

— Что, не выспался еще с вчерошнего? — спросил царь Ивана Петровича, заметив его распухшие веки и красные глаза. — И вельможи мои еще прохлаждаются. Но покамест я свободен и хочу вот вызнать на досуге, чему ты за морем доподлинно обучен. Ну-с, чем можешь похвастать?

Номенклатуру предметов, которые преподавались в тулонской навигационной школе, Иван Петрович еще помнил и бойко пересчитал их по пальцам.

— Многонько, — сказал Петр. — И все равно знаешь?

— Почти равно, ваше величество.

— Равно хорошо или равно дурно? Ну, да это мы сейчас выведем на чистую воду. Начнем с азов: с рангоута и такелажа[13], а там виднее будет. Что это у тебя? План корабельный? Его-то нам и нужно.

С свойственной ему нервной быстротою царь указывал пальцем на плане то на ту, то на другую часть корабельного вооружения и,

к немалому его удивлению, испытываемый, не задумываясь, без ошибки называл ему каждую жердочку, каждую веревочку. «Гротмарсалисельспирт», «формарсато-пенант», «крюсбомбрамбрас», «стенъвын-треп», «гротбомбрамстенъга», «форбомбрамфал» и иные столь же мудреные корабельные термины, от которых непривычный человек сразу бы поперхнулся, так и сыпались без запинки с языка Ивана Петровича. Первая неделя с Лукашкой пошла ему, видно, на пользу.

— Букварь-то корабельный ты твердо знаешь, — не мог не признать государь. — Но умеешь ли буквы и в слова слагать? Скажи-ка мне, как перебрасопить[14] грот-марсарей[15] по ветру на другой фокагалс[16]?

Спафариев стал в тупик.

— Ну, что же?

— Сей момент, государь. Общим образом сказать... Он замялся и украдкой покосился на стоявшего еще около стола калмыка. Но тот в ответ на вопросительный взгляд барина лукаво только подмигнул и повел плечом, точно царь отпустил презабавную шутку. «Что бы это значило?.. Ага!»

— Задача нестаточная! — произнес он вслух, сам иронически улыбнувшись.

— Почему так?

— Потому: как же перебрасопить рей одной мачты на галсе другой мачты?

— Сообразил! На простой этакой штуке тебя, я вижу, не поймаешь. Спросим же тебя прямо без экивоков: ежели бы ты вышел в море и ветер посвежел, то в каком порядке ты стал бы убирать паруса?

«Гм! как бы не перепутать...»

Иван Петрович неуверенно начал перечислять паруса, растягивая каждое название и невольно поглядывая при этом на Лукашку.

— Ты чего тут еще торчишь! — вскинулся на последнего Петр, от зоркого глаза которого не ускользнул этот ищущий взгляд. — Отойди вон, не мешай! Ну, далее! — обратился он опять к господину.

Тот продолжал свой перечень, но по недовольному тону, с которым государь торопил его: «Далее, далее», он понял, что замирается, и примолк.

— Кончил? — спросил Петр. — М-да, не важно. Пусти тебя командовать в шторме, так

от всех парусов у тебя, того гляди, остались бы одни клочья. Ну, а потеряй ты среди моря намеченный курс, как бы ты, научи-ка меня, узнал курс судна?

Лукашка, незаметно отретировавшийся за кресло царя, дал оттуда барину наглядный ответ: сперва развел руками поперек палатки, потом вдоль ее.

— Я определил бы широту и долготу места, — громко отвечал Иван Петрович.

— Хорошо. Вот тебе карандаш, вот бумага. Высчитай-ка мне...

— Простите, государь, — счел за лучшее вперед уже повиниться допрашиваемый, — математика мне не особенно далась; расчетов этих я не знаю еще во всей точности...

— Ну, а в мореплавании точность — первое дело. Как раз корабль свой на подводный риф либо на мель посадил бы. Дальше буква-ря и складов по этой части ты, стало быть, еще не пошел. Может, ты сильней в кораблестроении? Скажи-ка, чем главнейше различаются суда французские от голландских?

Калмык из-за царской спины столь же образно изобразил руками сперва корпус длин-

ного и остроносого судна, а потом короткого и пузатого.

— У французов суда длиннее и острее, — отвечал его господин государю, — а у голландцев короче и круглее.

— Так ли? Поразмысли-ка хорошенько.

— Виноват, наоборот! — поспешил поправиться молодой человек, — у французов короче и длиннее, а у голландцев...

— Со здоровья да на упокой! — строго и нахмурясь перебил Петр. — Сначала-то совершенно правильно сказал, да, словно флюгер по ветру, сейчас фронт повернул. В голове у тебя, мусье, сумятица неразборная. Тебе ли суда строить, коли и с виду их отличить не умеешь? Ведь видел же ты, слава Богу, в Тулоне и Бресте всякие суда: и французские и голландские?

— Видел, но...

— Но не разглядел? По сторонам зевал, ворон считал? А в истории мореплавания ты столь же силен?

— Изучал по малости... — отвечал Спафариев совсем уже в минорном тоне.

— Вижу, что по малости: мозги себе позна-

ниями не чрезмерно отягчил. Кого же, по-твоему, из мореплавателей надо превыше всех чтить? Ну, что же ты? Аль не слышал про Колумба, про Васко-де-Гаму?

— Слышал: Колумб Америку открыл.

— Жаль: тебя упредил. Ну, а тот?

— Васька де-Гама?

— Да, именно Васька! — сердито усмехнулся царь. — А чести ему еще больше, чем Колумбу: тот зря Индию искал, да в Новый Свет попал; этот же заведомо объехал Африку и первый в Индию морской путь открыл. А давно ль это было? Скоро ли после Колумба?

Лукашка поднял на воздух три пальца.

— Три... года, — отвечал Иван Петрович.

— Ой ли? Не три века ли?

— Ах, да, конечно!

— Конечно! Что так, то так! Когда жил Колумб? 200 лет назад? Стало быть, по-твоему, Васко-де-Гаме через 100 лет еще после нас с тобой народиться? В новой истории, надо признаться, ты умудрен. Каково-то в древней? Что ты мне расскажешь о древних понтонах?

— Бонтонах? — переспросил Иван Петро-

вич. — Первым бонтоном у древних греков почитался Алкивиад...

— Не о бонтонах и шаматонах, тебе подобных, спрашиваю я тебя! — резко оборвал его Петр, — а о понтонах, о мостах понтонных. Или те для тебя премудрость Соломонова за семью печатями? Что такое по-гречески понт, ну?

Окончательно потеряв почву под ногами, молодой человек ничего уже не помнил и, как к единственному якорю спасения, обратил взоры опять на Лукашку.

— Что ты это все за спину мою засматриваешься? — заметил царь. — Э! Да ты что там, Лука?

— Я ничего, ваше величество, отвечал калмык, быстро опуская по швам руки, которые приставил было рупором ко рту.

— Выходи-ка оттуда и стань вот здесь к сторонке. Ну-с, сударь мой, что же такое понт?

Иван Петрович в виде последнего средства уронил на пол платок, который мят до сих пор в руках. Камердинер понял барина и мигом подскочил, чтобы поднять платок и шеп-

нуть при этом:

— Море.

Но подозрительность государя была уже возбуждена, тонкий слух его уловил подсказанное слово, и все лицо его вспыхнуло гневным заревом.

— Так вот как? — вскричал он. — Коня ку-ют, а жабы лапы подставляет? Ты, простой слуга, хочешь быть учение своего господина? Добро же. Говори, что тебе известно о древних понтонах?

— Первымна понтонах переправил свое войско через Геллеспонт Ксеркс, царь персидский, — начал калмык.

— Так! Ну, и как же он сделал это?

— А связал корабли свои канатами в два моста с одного берега до другого, якорями же с них на дно морское опустил корзины с камнями.

— И много пошел у него на то кораблей?

— Для одного моста 360, а для другого 300. Петр даже руками развел.

— Откуда у тебя, мошенник, эти ученый крохи?

— С барского стола еще мальчонкой подби-

рал, а в Тулоне и Бресте и от других перепада-
ло.

— Он, ваше величество, на моем житей-
ском корабле стоячий и бегущий такелаж[17]
, - пояснил Иван Петрович.

— А может, и такелажмейстер? Ну-ка, таке-
лажмейстер, вывози своего шкипера.

И «такелажмейстер» был подвигнут обстоя-
тельному перекрестному допросу по всем
статьям морской науки. Ответы его были
кратки, точны, ясны, и ни разу он не запнулся,
ни прикусил языка.

— Иноземные крохи ты изрядно подби-
рал, — с видимою уже благосклонностью ска-
зал Петр. — Но мы — люди русские, и доселе
главный морской порт наш — на Белом море.
Как же ты повел бы себя на беломорской суд-
не? Ведь там свои румбы[18].

— А называл бы их по-тамошнему.

— Да разве и их ты знаешь тоже?

— Спрашивай, государь.

— Ну, как там зовется нордост?

— Полуночник.

— Верно. А остнордост? [19]

— Меж-востока-полуночник.

— Гм! А зюдвестен-зюд? [20]

— Стрик-шалоника к лету.

— А нордвестен-норд? [21]

— Стрик-побережника к северу.

— Эге! Да ты сам, верно, из беломорцев?

Или живал в Архангельске?

— Никак нет. Отродясь там не бывал. Но коли царь мой троекратно плавал по Белому морю, коли сам был там и лоцманом, и кораблестроителем...

— Так заправскому моряку грех не знать нашего Белого моря? — с оживлением подхватил Петр. — А ведомо ли тебе, кто там первый кораблестроитель?

— Баженин Осип. И великий государь наш Петр Алексеевич был им таково доволен, что взойдя с ним на высокую гору, а на той горе на превысокую колокольню, сказал Баженину: «Вот все, Осип, что ты видишь отсюда: села, земли и воды — все твое, все тебе жалую в ознаменование моего царского благоволения за твою верную службу, за острый ум и за честную душу.

— А что же отвечивал на то царю Баженин?

— „Не след мене, отговорил е той, — да бъда господарин на себе подобни“, и не взел щедра награда.

Сверкнал очите, Петър обърна се към безмолвно-вавилонския Иван Петрович.

— А тебе, мусе, все ли равномерно тебе известно е?

— Не, ваше величество, — трябвало е да се признае това. — В тулонския навигационен училище об архангелския порт дори не помисляли...

— Откъде ж човек твой чувал?

— А он, ваше величество, болтунал, пуска се в разговори со всяким срещания...

— У когото може да нещо-няко да се научи? То-то е, сударю мой, че често два човека живеят бок о бок, виждат и чуват едно и то же, да един ко всичко слеп и глух, другият же всяко малост за себе занемарва и усвоява. Називал си сега шкипером на кораба; а на проверка, по научен конкурс, ти не повече, като вымпел на флагштока, слуга ж твой — не такелаж и не такелажмейстер, а штурман, коли не сам шкипер. Кой ж из вас двамата в такъв раз, кажи, господарин и кой

слуга?

Что мог возразить на это Иван Петрович? И то ведь Лукашка, как подлинный штурман, безотлучный при нем на житейском океане, вел так сказать его „корабельный журнал“, вносил туда и направления ветра, и скорость хода, и глубину моря, и астрономические исчисления. Если утлое суденышко его, Ивана Петровича, дотоле не потерпело еще аварии, то лишь благодаря ловкости своего искусного штурмана, Лукашки.

— Ты молчишь, потому что не имеешь оправданий? — продолжал царственный экзаменатор. — Дальше азбуки в морском деле ты не пошел, хоть было дано тебе на то полных три года. На что же ты после сего годен? Может, в кухари судовые? Да знаешь ли ты хоть сухари-то корабельные заготовлять впрок?

Как под проливным дождем, хлещущим беспощадно из грозовой тучи, молодой человек низко понурил свою победную голову и безнадежно прошептал:

— Не знаю...

— А чего, кажись, проще? Хлеб ржаной

крепко выпекают, а потом, изрезав на куски, пропекают вдругорядь в хлебной печи. Ну, вот точно так же, изволишь видеть, вас, недопеченных моряков, впрок заготавливают — вдругорядь пропекают. Офицерского чина ты ведь, по совести, не заслужил?

— Не заслужил...

— И начать тебе, значит, с нижнего, матросского чина. А тебя, друг любезный, — милостиво обратился Петр к калмыку, — за толь благоуспешную, прехвальную ревность твою к вящему усовершенствованию и за рачение об истинной славе отечества жалую в мичманы, и быть ему, матросу, под твоей, мичмана, командой, дабы наставил ты его, ветрогона и пустельгу, уму-разуму.

— На колени, сударь! Винись, проси! — шепнул сзади разжалованного в матросы его слуга-начальник.

Но тот, морально вконец хоть уничтоженный тяжелым царским приговором, стоял как вкопанный: мог ли он, дворянин, при возвеличенном рабе своем еще более принижаться?

Тут сам раб неожиданно повалился в ноги

царю.

— Прости ты его, великий государь! Яви над ним свое монаршее милосердие и благодать! Повинен ли он в том, что в родительском доме сызмала, с самых пеленок взращен в холе и неге, к безделью приучен? А душою, клянусь всемогущим Богом, он чист, бодр, жалостлив, умом светел и остер, лишь бы подалей ему от городских соблазнов. Удали же его в деревню, чтобы выжил он там до более зрелых лет, и выйдет из него, поверь моему слову доблестный гражданин и оберегатель твоих царских предначертаний. Меня же, недостойного, низкорощенного, — не возьми во гнев, государь, — уволь от офицерского чина: не по корове седло.

По мере того, как говорил вновь пожалованный мичман, нависшее на челе государя темное облако стало разрезаться.

— За тебя, мингер мичман, я не опасюсь, — промолвил он, — и правая рука моя, Меншиков Александр Данилыч, вышел не из вельможной знати до первых шаржей. Не место красит человека, а человек место. За барином же твоего меня, точно, опаска берет: из

этакого матушкина сына и под твоей командой, пожалуй, пути не будет. Пеший конному не товарищ. Я у тебя, Лука, и без того еще в долгу. Много ль помог мне план твой при взятии Ниеншанца, нет ли, не в том дело. Дело в доброй воле твоей — для царя нести голову на плаху. Так вот тебе в угоду прощаю твоего господина.

Окаменелость Спафариева не устояла перед такою незаслуженною благодатью, гордость его была сломлена, и он без слов упал также к ногам государя.

— Не мне кланяться, а вот кому ударь семь раз челом! — с мягкою уже строгостью говорил Петр, указывая на калмыка. — Сейчас только он был твоим господином и великодушно выпросил тебе вольную из крепостной кабалы. Понимаешь ли ты, в чем теперь первый долг твой?

— Ты свободен, Лукашка, — тихо промолвил Иван Петрович, приподнимаясь с пола. — Ты был мне всегда не столько слугою, сколько братом.

— А теперь вы и перед людьми братья, только он — старший брат, а ты — млад-

ший, — сказал государь. — Так дай же ему братский поцелуй.

И бывший господин с бывшим слугою побратались троекратным поцелуем; после чего, однако, калмык припал еще гулами к руке Ивана Петровича. Тот поспешил отдернуть руку.

— Ну, ну, что ты, Лукашка...

— С сей минуты мичман мой для тебя, сударь, уже не Лукашка, а Лука... — внушительно заметил царь. — Как тебя, братец, по отчеству?

— Артемьевич.

— Стало быть, Лука Артемьевич. Иначе, мусье, его, слышишь, и не называй. А родовая фамилия твоя как? — отнесся Петр снова к бывшему слуге.

— Особой фамилии, государь, в нашем роде нету. На барской же усадьбе звали меня либо Лукашкой, либо просто калмык, по отцу, который был калмык родом.

— Так зваться тебе отныне мичманом Калмыковым.

И, взяв с угла стола, из пачки разного формата бумаги и бланок, большой пергамент-

ный лист, Петр окунул лебяжье перо в чернила и вписал в пробел меж печатных строк: „мичман Лука Артемьев сын Калмыков“, потом внизу: „Ш л о т б у р г, мая 29 дня 1703 году“, и наконец расчеркнулся своим излюбленным голландским именем: „P i t e r“.

— Вот тебе твой офицерский патент, — сказал он молодому мичману. — С нынешнего же дня ты по чину на казанном коште, а на дальнейшем ристалище отличий я — твой главный куратор. Тебе же, мусье маркиз, дорога скатертью, и въезд как сюда, в Петербург, так равно и в Москву, заказан вперед до истечения десятилетней давности от твоих прегрешений.

Мичман Калмыков преклонил колена, чтобы принять неожиданно заслуженный патент и с благоговением приложиться к руке государя. Когда же он затем приподнялся и оглянулся на своего господина, того и след простыл. Как гонимый бурным ветром, Иван Петрович летел без оглядки из царского лагеря обратно в город. Нагнал его Лукашка только на городском мосту и начал было изливать свою благодарность за данную ему вольную,

но барин остановил его рукою.

— Об этом ни слово, Лукаш... или, pardon, monsieur, — прибавил он с горечью, — как прикажете величать отныне вашу милость?

— Полно, сударь! — с мягким укором сказал калмык. — На меня-то за что ты серчаешь? Называй меня, сделай милость, по-прежнему Люсьеном, Лукашем или Лукашкой, как Бог на душу положит.

— Нет, уж по меньшей мере Лукой Артемьевичем. А для тебя, Лука Артемьевич, я тоже не сударь уж, а просто-напросто Иван Петрович. Что же до твоей вольной, то ты ее по праву заслужил, как и я мою десятилетнюю опалу.

— Бог милостив, Иван Петрович, царь тоже, и верно до срока снимет с тебя опалу.

— Хоть бы и снял, я из трущобы моей ни ногой, ежели сам того не заслужу. Либо под щитом, либо на щите! А теперь, друг и брат Люсьен, окажи мне последнюю братскую услугу: разыщи мне на дорогу удобный дормез или хотя бы колымагу.

Под вечер того же дня, несмотря на все упрашивания калмыка, герой наш пустился в

путь — уже без него, своего верного личарды, увозя с собой в родовую калужскую трущобу единственным трофеем всех своих подвигов на берегах Невы приснопамятную рассоху заповедного лося майора де ла Гарди, великодушно уступленную ему Меншиковым.

Эпилог

*Замолкнул гром, шуметь гроза уста-
ла,
Светлеют небеса...
А. Толстой*

*Пусть он подписывался: «P i t e r»,
Но пред отечеством на смотр
Все ж выйдет из заморских литер
На русский лад: «Великий Петр».
Кн. Вяземский*

Прогремела Полтавская битвы, померкла звезда «льва севера» — Карла XII, и высоко вошло солнце «турки севера», как называли до тех пор царя Петра Алексеевича европейские дипломаты. Но лучезарность нового мирового светила волей-неволей признавалась уже «соседственными потенциями»: первым

поспешил поздравить победителя под Полтавой старинный благоприятель его, король польский Август; короли прусский, датский и французский, курфюрст ганноверский напереыв стали заискивать перед московским царем, и при всех европейских дворах царь, как и резиденты его, находили уже самый радужный, почетный прием. Герцог вольфенбюттельский, затягивавший под разными предлогами переговоры о браке своей красавицы-дочери, принцессы Шарлотты, с русским царевичем Алексеем Петровичем, охотно изъявил теперь согласие на этот брак. Сам Петр, конечно, лучше всякого другого понимал громадное политическое значение своей «в свете неслыханной виктории»: скромно довольствуясь доселе чином полковника, он не отказался теперь от предложенного ему войском сухопутного чина — генерал-лейтенанта и морского — «шаутбенахта» (вице-адмирала), но ближайшего сподвижника своего, Меншикова, наградил фельдмаршальским жезлом.

Что мы, русские, стали отныне твердое ногою у «Варяжского моря» — не оставалось уже

никаких сомнений, и Петербург был назначен главною царскою резиденцией окончательно и бесповоротно. Бельмом не глазу новой резиденции была еще только соседняя шведская крепость Выборг. Но 13 июня 1710 года и «эта крепкая подушка Санкт-Петербургу, устроенная чрез помощь Божию» (как образно выразился Петр в одном письме к Екатерине), сдалась на капитуляцию. От суровых берегов Балтики по всему лицу земли русской повеяло свежим дуновением если и не полного еще мира, то разредившейся грозы, а над новою резиденцией пахло долговечною весною. Недоставало только ласточек...

Но вот под вечер 21 июня прилетела и первая ласточка. Правда, что ласточка была из довольно грузных. Под Смольной у неевского перевоза остановился запряженный четвериком взмыленных коней громоздкий рыдван. При помощи ливрейного камердинера, спрыгнувшего с козел, из экипажа вылез, накренив его на бок, молодой еще на вид человек, лет не более тридцати. Если приятное вообще лицо его поражало уже избытком здоровья, выразившимся в густом румянце во всю

щеку, в заплывших глазах и в мясистом кадыке под подбородком, то бесформенная тучность туловища его возбуждала невольное беспокойство при мысли: что-то станет с этим феноменальным здоровяком через пять, через десять лет?

Оставив камердинера при вещах, молодой толстяк, как откормленный гусь, переваливаясь с бока на бок, хотя и не без грации, свидетельствовавшей, что когда-то он был лихим танцором, спустился к перевозу. Здесь он сел в первый ялик и велел везти себя на тот берег, в Ниеншанц.

— Ниеншанца-то, господин, у нас более не полагается, — отозвался яличник, ловким ударом весла выгоняя свой ялик в реку из среды других лодок.

— А что же вон там, как не Ниеншанц? — спросил господин. — Тот же город...

— Федот да не тот. Нонече это у нас уже просто Охта, пригород, а подлинный город, Питер или Петербурх, пониже вот по сую сторуны реки, около прежней Коновой мызы... Слышал, может? Да еще насупротив ее до самого Васильевского, где Меншиковы палаты.

Внимание толстяка было уже отвлечено от говорящего противоположным берегом, где на месте прежней, окруженной валами, каменной цитадели возвышалась открытая к реке, деревянная громада.

— Что это такое? Никак верфь? — с недоумением указал он туда рукою.

— Верфь и есть, только уж старая: под Коновой мызой стоит новая... Мудреное такое дали ей название: язык сломаешь.

— Адмиралтейство?

— Вот, вот.

— Но где же крепость?

— Свейскую крепость царь до основания срыл: куда ему с ней, коли есть у него другая, вдвое крепче да ближе ко взморью? Ты, батюшка, как погляжу, давненько не бывал в наших краях: совсем не опознаешься.

— Чудеса! чудеса! — бормотал про себя молодой человек. — А что, любезный, не скажешь ли мне: живет еще тут в Ниеншанце, то бишь на Охте, старуха-шведка Пальмент?

— Майора Конова ключница? Живет старая, скрипит-поскрипывает.

— И все там же, где семь лет назад?

— Все там. Куда она поползет?

Ялик ударился в охтенскую пристань. Бросив лодочнику целые две гривны, господин вышел на берег и с прежнею изящною перевалкой двинулся без оглядки и опроса по знакомым ему, видно, улицам бывшего Ниеншанца к домику, где обитала экономка шведского майора. Старушка сама отворила ему дверь и с книксеном на ломаном русском языке спросила: что угодно господину?

— Неужели, любезная мадам, вы не узнаете вашего старого постояльца? — укорил ее тот по-немецки.

Фру Пальмен руками всплеснула.

— Gott sei mir gndig! (Господи, помилуй!) Вы ли это, господин маркиз? Только по голосу и признала.

— А вас, мадам, я сразу бы узнал, только на десять лет помолодели: розовые щечки...

— А это от горячей плиты... Простите, господин маркиз, что я в таком виде... — засуетилась старушка, расправляя на себе кухонный передник и обдавая при этом гостя ароматом чего-то вкусного, жареного на масле. — Пожалуйста, пожалуйста!

— Так уголок для меня у вас опять найдется?

— Для вас-то не найтись, первого друга моего бедного майора?

— А что с ним?

— Неужто вы не слышали, что он тотчас же, как отбыл в Выборг, впал в тихую меланхолию? И о сю пору, говорят, не оправился, несчастный! Ах, ах, да!.. Но зато как уж господин лейтенант-то мой обрадуется господину маркизу!

— Лейтенант? Какой лейтенант?

— Да бывший ваш... ну, мосье Люсьен.

— Люсьен! Так он уже в ранге лейтенанта и по-прежнему, значит, квартируется у вас?

— А куда же ему? Не хорошо ему, что ли, у меня? — словно даже обиделась добрая старушка. — Скоро, слышно, и в капитаны метит! — таинственно прибавила она с гордостью матери, хвастающей примерным сыном.

— Дай ему Бог. А его, видно, нет дома?

— Каждую минуту жду его из адмиралтейства. Ведь он у нас такой ревностный служака: с утра до вечера на работе.

— На работе! Когда другие добрые люди

только о еде помышляют? И у вас на кухне, по запаху слышу, готовится что-то преаппетитное.

— Ach, Herr Jesus! — спохватилась тут хозяйка. — Заболталась я с вам, а сосиски-то тем временем, пожалуй, совсем перегорели!

Сосиски, однако, оказались еще весьма съедомы, судя по жадности, с которою, не долго погодя, уплетали их взапуски лейтенант Калмыков и его нежданный, но желанный гость. Утоляя голод, бывший личарда, сам отличавшийся стройным станом и строгою военною выправкой, то и дело с ласковою озабоченностью посматривал на своего растолстевшего патрона.

— Что ты, Люсьен, так оглядываешь меня? — спросил Иван Петрович. — Что по всем швам расползся? И сам, милый, не рад! Теперь вот за границы к лекарственным водам собираюсь, чтобы маленько хоть поубавить талы. Нарочно объездом сюда завернул — вид себе выправить, отпустил бы только государь.

— Отчего не отпустить? Болезнь — причина уважительная. А меня уж опаска взяла, что пожаловал ты к нам в Питер, вопреки

царскому запрету, ранее десятилетнего срока, для одного своего плезира. Ведь ты же в единственной персоне, без семьи?

— Еще бы тащить с собой всю ораву!

— А! Так ты, Иван Петрович, стало, женат?

— Ох, да.

— От души поздравляю! И потомством Господь наградил?

— Наградил, брат, награбил, и мамками, и няньками! От этого писку да визгу хоть на край света беги! И бегу, хоть не на век. А сам ты, Люсьен, бобылем еще живешь?

— Бобылем. До женитьбы ли на государственной службе? С нею бы лишь управиться. Работы хоть отбавляй.

— Так и твоя судьба не красна?

— О, напротив, мне на судьбу свою жаловаться — Бога гневить. В труде для нашего брата и жизнь: воочию видишь, как под руками у тебя дело горит, кипит. И у государя я за это в добром кредите. А одно этакое царское слово вдвое еще пару поддает. Сам ведь он у нас первый неустанный работник. С пятого часа утра уже на ногах: сперва выслушает по текущим делам секретаря своего Макарова;

потом выпьет чарку водки, закусит кренделем, сядет в свою одноколку и катит по всему Питеру — и к нам в адмиралтейство, и на канатный двор, на всякие сооружения и работы; все-то обозревает, всякого поощрит, наставит, как что лучше сделать. Одному о сю пору, слышь, только и не обучен: лапти плести.

— Но зато ко столу своему по-прежнему собирает веселую компанию?

— Да, чествует первых советников своих, да и иноземных гостей. Встает же всегда первый из-за стола, чтобы за трубкой кнастера просмотреть еще голландские газеты да пометить из них, что поважнее, в записную книжку, после чего, по стародавнему обычаю, отправляется почивать. Вздремнув часок-другой, с свежими силами опять за государственные упражнения: принимает с докладами канцлера, генерал-фельцейхмейстера, генерал-полицеймейстера и иных сановников, совещается с корабельными и прочими мастерами...

— Но вечером снова в банкетах и ассамблеях душу отводит?

— Не столько опять ради себя, сколько ради своих вельмож и офицеров: «Делу, мол, время, а потехе час». Так раз на неделе, по пятницам, собираются они у царского мундкоха, шведа Фельтена, причем каждый от себя платит за угощение по червонцу... Ха-ха-ха! — закатился вдруг хозяин-лейтенант.

— Ты с чего это, Люсьен? — удивился гость.

— А вспомнилось мне, как государь этого самого мундкоха за лимбургский сыр прочил.

— Дубинкой?

— Дубинкой. С побывки еще своей в Амстердаме сделал он привычку заедать обед, вместо разных сластей, маслом да сыром, так-то вот подали ему однажды целый лимбургский сыр, и пришлось ему тот сыр отменно по вкусу. Откушав, государь нарочно отмерил оставшийся кусок палкой, а как встал из-за стола, то наказал Фельтену спрятать сыр и отнюдь никому не подавать. На другой день сыр появился опять на царском столе, но убыло его за сутки наполовину. Смерил государь сыр палкой и зело разгневался: «Позвать сюда мундкоха!» Приволокли раба Божия. «Отчего,

говори, убыло столько сыру со вчерашнего?» — «Не могу знать, ваше величество; я его не мерил». — «А я мерил».

— И мундкоху горбом своим пришлось отплатить за недостачу? — со смехом подхватил Иван Петрович. — А потом?

— Потом государь, остыв, как ни в чем не бывало, принялся за сыр, которого хватило еще на несколько дней.

— Но есть у него тоже какие-нибудь любимые потехи: звериная охота, что ли, травля, карты?

— Нет, пустых забав он у нас не уважает. Одна страсть у него — на парусах плавать. В шлюпке ли, на буере или в крохотной гичке, в зной ли, в дождь или в снежную вьюгу — вот это по нем! Да любо ему еще в досужие часы токарное мастерство. Сейчас возле рабочего кабинета и токарня царская, яко бы некая святыня, куда никому нет доступа, кроме главного механика, Андрея Нартова.

— И Меншикова, — досказал Спафариев.

— Нет, и тому туда вход заказан. Разлетелся было его экспедиция раз туда, хотел насильно ворваться, а Нартов ему дверь перед

самым носом захлопнул и доложил царю: так, мол, и так. Улыбнулся государь, говорит: «Где укрыться от ищущих и толкующих? Кто дерзнет против мастера моего? Посмотрю. Подай-ка, Андрей, чернила и бумагу!» Написал и подал Нартову: «Прибей к дверям». Сам я читал потом на дверях тот аншлаг.

— Что же гласил он?

— Гласил он от слова до слова: «Кому не приказано или кто не позван — да не входит сюда не токмо посторонний, но ниже служитель дома сего, дабы хотя сие место хозяин покойное имел». С тех пор никто туда уже ни ногой; а государь говорит Нартову: «Ну, что, Андрей, ходящих сюда что-то не слышно? Знать, грома колес наших боятся».

Долго до поздней ночи, занимал еще таким образом экскамердинер Люсьен эксмаркиза Ламбаля рассказами о своем обожаемом государе и закалялся бы до утренней зари, если бы сам слушатель его, зева, не напомнил наконец о том, что пора и на боковую.

А на следующий день калмык нарочно освободился с утра от служебных занятий, чтобы совсем посвятить себя своему дорогому

гостью и лично показать ему с казовой стороны молодую царскую резиденцию в новом ее виде. На четырехвесельном катере оплыли они все вновь заселенные места, и Иван Петрович просто глазам не верил: где, не далее как семь лет назад, в тени нетронутого леса кое-где лишь ютились дворянские мызы да рыбацьи лачуги, там стройными рядами тянулись теперь городские дома, по большей части, конечно, еще деревянные и одноэтажные.

По правому берегу Большой Невы, выше крепости, на Петербургской стороне, останавливали внимание видные хоромы вдовствующей супруги царя Иоанна Алексеевича и принцесс, а также некоторых из знатнейших царедворцев. Позади этих «парадных» зданий и кронверка (как пояснил Люсьен) остров был также густо застроен: кроме двух казенных госпиталей для солдат, были там целые две слободы, русская и татарская, был большой гостиный двор[22] и «татарский табор» (первоначальный толкучий рынок).

Ниже крепости, на «стрелке» Лосиного — Васильевского острова, над группой малень-

ких домиков, гордо возвышались три голландские ветряные мельницы, служившие, однако, не для молки муки, а для распилки строевого леса, которого питерцы не могли напастьсь. На месте той самой прогалины, где герой наш уложил когда-то ручного лося майора де ла Гарди, был разведен цветочный сад, среди которого красовалось двухэтажное, деревянное, чрезвычайно изящное, итальянской архитектуры здание — дворец фельдмаршала Меншикова; а поблизости был уже начат постройкою для его эксцелленции большой каменный дворец (нынешний первый корпус). Далее Васильевский остров представлял еще почти прежнюю глушь; но кое-где на лужайках меж деревьев вместо лосей можно было уже видеть пасущийся домашний скот.

Левый берег Невы был еще менее узнаваем. На месте нынешней Александро-Невской лавры громоздились на берегу материалы для будущего монастыря, и преступлено уже было ко вбивке свай. Отсюда вниз по реке, вплоть до прежней фон Коновой мызы, берег был усеян обывательскими домиками, цепь

которых прерывалась только там и здесь неуклюжими громадами кирпичных заводов, снабжавших новую столицу строительным камнем.

При истоке Фонтанки из Невы была летняя резиденция самого царя — его Летний дворец. Небольшой величины, голландской постройки, дворец этот был расписан разными колерами, а окна его были разукрашены золочеными рамами и свинцовыми орнаментами. При дворце был разбит сад с мраморными статуями и бюстами, с искусственным гротом и бьющим в нем фонтаном. Позади дворца раскинулись: оранжерея с померанцевыми, лимонными и лавровыми деревьями, зверинец, птичник, огород, а также все нужные службы для царской прислуги.

Ниже по тому же левому берегу Невы бросался в глаза очень красивый двухэтажный дом с галереями. То была первоклассная столичная «австерия», или по-теперешнему ресторан, где сам Петр нередко пировал с своими приближенными, а то, случалось, давал и для всего двора ассамблеи.

Вслед за австерией начиналась так назы-

ваемая «Немецкая слобода» — главное поселище иноземных посланников, флотских из голландцев и немцев, а также некоторых знатных русских. Из зданий Немецкой слободы особенно выделялись дома вице-адмирала Крюйса, генерал-адмирала графа Апраксина и адмиралтейств-советника Кикина. Но первое место на всей набережной бесспорно принадлежало обширнейшему морскому арсеналу или адмиралтейству. Окруженное с трех сторон рвом и валом, вооруженным большими пушками, адмиралтейство в сторону Невы было открыто, так что с реки можно было обозреть весь огромный внутренний двор, на котором в данное время, кроме нескольких мелких судов, строился пятидесятипушечный фрегат.

— Заложен он в прошлом ноябре и будет наименован «Полтавой», — объяснил лейтенант Калмыков своему бывшему господину. — А с «Полтавой» только покончим, так примемся за девяностопушечный фрегат! Флот у нас теперь уже хоть куда: фрегатов целых 12, галер 8, сосновых кораблей 6, бомбардир-галиотов 2, а мелких судов — и счету нет!

— Ты, Люсьен, я вижу, в свою службу, как в болото, до ушей погряз, — заметил Спафариев. — А что пользы? Иностранных мастеров и офицеров государь все же своим русским предпочитает, дает им двойной оклад...

— И правильно! — с жаром подхватил Люсьен. — Они — учителя, мы — ученики. Нынче у нас в Питере иностранных торговых кораблей в течение навигации вдвое перебывает против того, что прежде в Ниеншанце. А все отчего? Оттого, что царь их прикормил, приручил. Слышал ты, батюшка, как принят был государем здесь первый голландский корабль?

— А как?

— Семь мудрецов древности не измыслили бы умнее. Выехал он к ним навстречу под Котлин остров на простой шлюпке в матросском наряде, выдал себя за простого лоцмана и провел корабль между мелей в Большую Неву, к пристани петербургского губернатора Меншикова. Меншиков же вышел к ним из своего дворца и с особливой галантерейностью, на что он такой мастер, пригласил шкипера со всем экипажем к себе в гости. То-то

было угощение! То-то удивление гостей, когда они тут только, за столом, узнали, кто был их лоцман.

— И государь дал им, пожалуй, еще какие-нибудь льготы?

— А то как же! Он разрешил им беспоплинную распродажу всего их груза — виноградных вин да испанской соли, и сам тут же сторговал себе изрядную часть, а остаток живо раскупили придворные. Когда же гости собрались в обратный путь их снова знатно угостили да выдали в презент от государя — шкиперу 500 червонцев, а матросам по 30-ти ефимков, после чего государь самолично опять провел корабль до Котлина острова и предупредил при этом, что шкиперу второго корабля, что прибудет в новый порт, будет отпущено триста золотых, а шкиперу третьего — полтораста.

— Что потом и исполнено?

— Само собою. Первый же тот корабль наименован с тех самых пор «Петербург» и доселе из году в год совершает к нам правильные рейсы.

— Кстати о рейсах, — сказал Иван Петро-

вич. — Не заходят ли сюда корабли из немецких портов?

— На днях еще один завернул из Штеттина. Только я тебя, голубчик Иван Петрович, прости, так скоро не отпущу!

— И сам я не прочь у тебя погостить. Лишь бы государь потом не задержал. Уж ты, дружище, мне это опять оборудуй, чрез царского денщика, что ли, Павлушу.

— Павлушу? Такого давным-давно нет.

— Как нет?

— Есть граф Павел Иванович Ягужинский, обер-прокурор правительствующего сената.

— Ого! Так он, значит, при своем деле в Москве?

— В Москве. Первым же денщиком при особе его величества состоит ныне Румянцев. Чрез него-то да чрез придворного маршалка Антуфьева, что мне тоже доброхотствует, мы в добрый час найдем тебе доступ в приемную его величества.

— А скоро ли ждут государя сюда из Выборга?

— Да слышно, завтра.

Действительно, на другое же утро, 23

июня, совершилось торжественное шествие в новую столицу царя-триумфатора во главе своих молодцов гвардейцев. Запыленные, с загорелыми, обветрившимися лицами, но с свежими зелеными венками через плечо и на шляпах, те весело и бодро шагали под трубную музыку и барабанный бой, неся перед собою отнятые у шведов знамена и значки. Переправясь через Неву в свой Летний дворец, Петр принимал здесь полномочных послов от герцога курляндского для заключения трактата о супружестве герцога с русскою царевной Анной Иоанновной, а вечером устроил для них и всего двора большой банкет.

В следующие три дня у государя также не было обычного приема, потому что накопившиеся за время его отсутствия из Петербурга спешные государственные дела занимали у него все утро, а затем он облетел город, чтобы лично убедиться, в какой мере подвинулись пока многообразные городские сооружения.

— Дай поразмять ему орлиные крылья, — говорил Люсьен своему бывшему господину. — А тем временем заручись-ка на всяк случай аттестатом от лейб-медика Арескина,

что и вправду тебе без лекарственных вод не обойтись.

Спафариев не преминул последовать благоразумному совету, а на четвертое утро, 27 июня, калмык разбудил его спозаранку, торопя одеваться:

— Теперь самый момент: годовщина Полтавской виктории и высочайший выход. Государь несомненно в наилучшем расположении духа. А Антуфьев обещал мне поставить тебя хоть и не в первый ряд поздравителей, к посланникам да вельможам, то во второй с фланга.

И вот Иван Петрович стоял в царской приемной во втором ряду с фланга. Никто, казалось, из окружающих пышных, надменных царедворцев не помнил уже безвестного дворянина, который семь лет назад на потеху их отличался в бешеной пляске неаполитанцев. Этот пузатый, пыхтящий увалень, не украшенный никакими регалиями, но наряженный в модное немецкое платье, мог быть только какой-нибудь иноземный разжиревший негоциант, и всякий опасливо от него сторонился: неравно толкнет или мозоль от-

давит.

Тут распахнулись двери царского кабинета, и на пороге показалась могучая фигура Петра. Как всегда, на нем был полинялый, походный кафтан; только через плечо красовалась у него светло-голубая андреевская лента, да на груди блистали две звезды. Но ярче звезд сверкнул его царственный взор, когда он оглядел многочисленное собрание звездноносцев, явившихся «во всем параде» принести своему монарху всенижайшее поздравление с победой и миром. На общий приветственный гул благосклонно кивнув головою, царь заметил:

— Мир, государи мои, хорошо, однако и дремать не надлежит, чтобы рук нам не связали, да и солдаты не сделались бабами.

Затем начался официальный обход вельможных поздравлений, и каждый был удостоен государем парюю милостивых или шутивых слов. Долее других говорил он с неизменным своим фаворитом, генерал-фельдмаршалом Меншиковым, с великим канцлером графом Головиным, с вице-канцлером бароном Шафировым, с генерал-адмиралом графом

Апраксиным, с комендантом Петропавловской крепости Брюсом. Очередь дошла до высокого, очень представительного моряка с большою, багрового цвета родинкой под глазом — вице-адмирала Корнелиса Крюйса, который (как слышал Иван Петрович намерении от Люсьена) один из всех придворных мог помериться с государем в искусстве управлять парусами.

— Ну, мингер Корнелис, — сказал улыбаясь Петр, — изготвься-ка к завтраму состязаться с нами в парусной гонке. Авось, на сейто раз оставим тебя за флагом! Гичка у меня — самоновейшей конструкции, и поднес ее мне в презент хозяин мой, первый магнат Выборгский Фризиус, или, лучше сказать, молодая супруга его, фру Хильда, для коей муж ее нарочно из Англии выписал. Как увидела, что гичка мне зело приглянулась, так просила через мужа принять от нее в знак доброй приязни к русским: в жилах барыньки от пра-родителей течет тоже, слышно, русская кровь. А что, Василий Дмитрич, обернулся царь к стоявшему позади его маршалу Антуфьеву, — новая гичка моя из Выборга, конеч-

но, уже доставлена?

— Конечно... хотя не могу сказать наверное, государь, — оторопел тот, не приготовленный, видно, к такому вопросу. — Сейчас после приема справлюсь.

По ясному челу государя скользнуло мимо-летное облако.

— С благоверной, поди, опять хлопот полон рот? — промолвил он довольно резко. — Что ж она все еще новых европейских порядков наших пятится?

Под устремленными на маршалка со всех сторон насмешливыми взглядами тот еще пуще замялся:

— Старинного фасона воспитание, ваше величество, в родительском доме получила...

— Так мы ее перевоспитаем! Чтобы нынче же ввечеру она была, слышишь, на нашей ас-самблее!

— За великую честь почла бы, но у ней, смею доложить, со вчерашнего так разболелись зубы...

Из глаз государя на отговаривающегося сверкнула такая молния, что язык у того прилип к гортани.

— А сам ты, Василий Дмитрич, тому веришь? — с трудом сдерживая свой пыл, спросил Петр.

— Как же не верить, ваше величество: целую ночь напролет простонала.

— Я с своей стороны, ваше величество, тоже о сем могу засвидетельствовать, — вмешался тут Меншиков, — от самой Еввы Ивановны сейчас наслышан.

— Где ж ты ее видел?

— А внизу на пристани: дожидается она там своего супруга в карете.

— Га! Так кататься она все-таки может? — отнесся царь к Антуфьеву.

— Проветриться только хотела после бессонной ночи...

— Попроси ж ее побеспокоиться к нам.

Что оставалось маршалку, как не повиноваться? Но заставить и супругу свою подчиниться царской воле было ему, видно, не так-то просто, потому что прошла минута, и две, и три, а Василий Дмитриевич ни один, ни с Еввой Ивановной не возвращался.

— Чего они там замешкались? — промолвил Петр, нетерпеливо потопывая ногою.

— Щеку себе платочком подвязывает, — объяснил с тонкой улыбкой Меншиков, выглянувший в окошко вниз на пристань.

— Добро!

И по губам царя проскользнула сердитая усмешка, не предвещавшая для упрямцы ничего доброго.

И вот она наконец появилась в дверях. Несмотря на повязанную щеку, Евва Ивановна своею «писаною» красотой тотчас расположила, казалось, большинство присутствовавших в свою пользу. Красота ее буквально была «писаная», потому что благообразное лицо ее было густо расписано белилами румянами, а «соболиная» бровь тщательно насурьмлена; но исправлять природную краску искусственными средствами было в обычае времени. Точно так же и излишняя, быть может, дородность Еввы Ивановны была совершенно во вкусе тогдашних русских людей и ставилась ей еще в особую заслугу. Национальный же русский наряд, несомненно, шел к ней лучше немецкой робы. Полный стан ее широко облегался длинным, вишневого цвета опашнем, часто усаженным от шеи до земли золотыми

пуговицами и окаймленным по низу широким шелковым и золотым шитьем. Продетые сквозь проймы ниже плеч пышные рукава летника были также расшиты шелками и унизаны жемчугом. Туго стянутые на голове русые волосы были скрыты под белым шелковым «убрусом», концы которого под подбородком были расшиты жемчугом; а на убрусе была насажена черного бархата широкополая шляпа, расшитая золотом, жемчугом, драгоценными камнями и отороченная соболем и кружевами, с ниспадающими на спину красными шнурами и с большою золотою запонкой впереди. И, сознавая свою неотразимость, красавица переступила порог с самоуверенною, горделивою осанкой. Но самоуверенность ее была заметно поколеблена при виде собранных здесь блестящих царедворцев, перед которыми ей предстоял теперь официальный допрос.

— Здравствуй, сударыня Евва Ивановна, — приветствовал ее Петр с притворно-соболезнующей миной. — Что это с тобою? Аль зубами опять страдаешь?

— Зубами... — пролепетала Евва Ивановна,

в невольном смущении избегая царского взгляда.

— Жаль мне тебя, матушка, жаль. Самое верное средство — с корнем вон. Пожалуй-ка за мною в токарню.

Барыню оторопь взяла.

— Благодарствую, государь... но теперь у меня один всего зуб немножечко ноет...

— А все ж таки ноет? Так мы тебя от злодея мигом избавим. Клещи у нас аглицкие: одно удовольствие. Пожалуй, мадам, без церемонии. Пожалуй и ты, Василий Дмитрич: голову супружнице поддержишь.

И с этими словами царь уже направился в свой кабинет, за которым помещалась токарня. Барыня не трогалась с места; но супруг без околичностей подхватил ее под руки и повлек упирающуюся следом за государем.

Злорадство при чужой беде свойственно, увы! многим смертным. И в данном случае обрушившаяся на Антуфьевых напасть дала придворным в царской приемной обильную пищу для злословия. Но злословить пришлось им недолго: из-за двух дверей донесся вдруг пронзительный женский вопль. Вслед

затем кабинетная дверь шумно раскрылась, и бомбой вылетела оттуда, чтобы пронестить через приемную к выходу, несчастная Евва Ивановна, а по пятам за нею с растерянным видом и супруг ее Василий Дмитриевич. Внимания присутствующих было, однако, тотчас отвлечено вошедшим государем. На лице его не было уже и тени прежнего неудовольствия; он, напротив, с самою благодушною миной рассматривал крупный, белый зуб, который держал в руке.

— Вот тебе, Арескин, любопытный монстр для нашей кунсткамеры[23], отнесся он к стоявшему тут же лейб-медику. — С виду, вишь, совсем будто здоровый зуб, а какие, поди-ка-сь, муки причинял! Целого человеческого монстра стоит. Да человеческим монстрам по уродливым нравам в шкафах у тебя и места бы не достало. Пускай шатаются по белу свету во всенародной кунсткамере в поучении ближним!

— В последние годы, ваше величество, таковых человеческих монстров на Руси у нас знатно поубавилось, — заметил Меншиков. — Стародавние наши российские предрассудки

и суеверья августейший зубной лекарь наш щипцами аглицкими, а то и голландскими, либо немецкими с корнем вырывает.

— Справедливо, мейн фрейнд! — рассмеялся царь, — сорную траву с корнем вон.

И в наилучшем настроении он продолжал обход титулованных «гратулянтов», пока не дошел до Спафариева.

— Наслышанный о блистательной виктории вашего величества, счел священным долгом принести тоже свою верноподданнейшую аттенцию... — скороговоркой начало было Иван Петрович.

— Мусье маркиз! Ты ли это? — изумился государь, который не столько по виду, сколько по голосу узнал потешавшего его когда-то образцового танцора. — От изобилья и лени в трущобе своей вконец опузырился! Но как же ты, скажи, там о виктории нашей прослышал, коли взят-то Выборг не далее, как две недели назад?

— О Выборге, ваше величество, я, точно, сведал только в пути, — нашелся тотчас наш маркиз, — но нынче первая годовщина Полтавы...

Петр погрозил пальцем.

— Вывернулся, француз! Но ведь тебе, помнится, дозволен был въезд в столицы не ранее десяти лет? Как же это ты, не спросившись, дерзнул пожаловать?

— Опальному, государь, каждый год за два кажется, и изныл я за эти годы до смерти...

— Оно и видно: в шкелет отощал! И тарантеллы, я чай, уже не пропляшешь? Одно место тебе, — в нашей кунсткамере. Не знаю только, Арескин, найдется ль у нас шкаф на его пропорцию?

— Тучность его, государь, тяжкая болезнь, — вступился серьезно Арескин, которого в пользу пациента без сомнения, склонила и полученная накануне почтенная визитная плата. — Прибыл он сюда из провинции главнейше, чтобы испросить себе всемилостивейший отпуск к Карлсбад, ибо одни лишь тамошние воды могут поубавить у него жиру.

— А иначе, пожалуй, и апоплексия хватит?

— Весьма даже статочно: и за год не ручаюсь. Отпустите его, ваше величество, с миром!

И отпустил его царь с миром. На крыльце

Ивана Петровича с нетерпением ждал уже Люсьен, чтобы узнать об исходе дела.

— Вот видишь! Я так и знал, что государь тебя не задержит, сказал он. — Теперь до отъезда погуляешь во всю. Быть может, удастся мне провести тебя и на царскую ассамблею...

— Не трудись, братец, ничего мне не нужно... — тоскливо и морщась словно от боли, отозвался Спафариев. Все лицо его было в пятнах, глаза его потухли и блуждали.

— Ну, так вместе в окошко хоть посмотрим. Вечеру же на Неве будет огонь артифициальный, потехи огненные. Всего, все равно, не пересмотришь. Вон хоть плакат на заборе — посмотри-ка. Это заезжий немчура в свой театр-циркус почтеннейшую публику зазывает. А что нагородил — умора!

И, подойдя с Иванов Петровичем к прибитой на заборе большущей афише, калмык стал читать с свойственной ему выразительностью и с особенным подчеркиванием наиболее безграмотных мест[24]:

«Объявление всякого чина персонам, какия поспешные дивотворствия и прочий забавные действия в государствах презентова-

ны, а именно в Цесарии, Пруссии, Франции, Польше и других княжениях; а какие — о том ниже следуют некоторые позитуры с переменными видами и действия, а именно:

1. Вначале наша в свете похвальная аглинская мастерица, опрокинясь назад ногами, на плат прострется.

2. Обе ноги круг шеи обивает, подобно галстуху.

... 7. Опрокинясь спиною, головою до земли, туловищем на ногах вкруг вертится, яко ветряная мельница, а лицо стоит на одном месте, не дотыкаясь руками до земли.

... 9. На пирамиде или 2 стулах стоящая головою, спустя на 2 фута ниже ног своих и подымая монету или рюмку вина, и пьет за здравие всей компании.

... 11. Еще ж будет колебимое явление от француза, а именно лестница 7 футов, на оной младенец; потом, поставя оную на чело, танцует фоли дишпаня.

... Прочия действия не суть описуемы.

При сем же забавный человек, подземист

собою, преузорочные удивительные скоки делает, которые натурою нечаянны, которому и мастерица то ж за ним действует; да еще ж с осмью обнаженными шпагами с ужасным видом отправляет; она же в танце на месте величиною с тарель более 600 раз обращается, храня верно каданцы, и шпагами мечет более 50 крат разными манерами, поставя на глаза, нос, щеки, уста и грудь свободно, не поддерживая их и чрез меру удивительно...»

— Ну, как не посмотреть! — со смехом заметил Люсьен, дочтя заманчивую афишу до конца. — И зрителей, верно, великое будет стечение. Да что ты, батюшка, ровно в воду опущенный? Царская радость — наша общая радость.

— Ваша, да, — живых людей, нужных государю, а не наша — людей отпетых, безнадежных, на коих им поставлен крест.

— С чего ты взял, Иван Петрович, что на тебя им крест поставлен?

— С того, что он признал меня годным лишь монстром для своей кунсткамеры.

— Ну, вот! Все это уныние у тебя, голубчик, от лишнего жира. Сбудешь на лекарственных

водах половину — и как феникс из пепла воспрянешь.

— Дай Бог, дай Бог... Покамест же я еще под пеплом, на поприще государственности ни на что не капабель, а воспряну ли в Карлсбаде — один Господь ведает. Теперь бы лишь доползти туда.

Ни дальнейшие убеждения, ни веселые прибаутки Люсьена не могли уже поколебать его решения — отбыть из Петербурга на первом же немецком корабле. По неотвязному настоянию калмыка, он, правда, участвовал во всех увеселениях высокаторжественного дня, но участвовал только в качестве пассивного зрителя, бездушного автомата. Безучастно слушал он немецких трубачей и литавристов на верхней галерее вышеупомянутой модной «австории»; безучастно слышал пушечную пальбу, сопровождавшую тосты за царским столом; равнодушно глазел на разные народные игрища и состязания на плацу позади Летнего дворца; равнодушно наблюдал ввечеру в окна австории царскую ассамблею, а затем и сожженный на Неве «блистательный артифициальный огонь». За весь

день на безмолвных устах его раз только проскользнула улыбка, когда в числе участниц ассамблеи он заметил и супругу маршала Антуфьева, Евву Ивановну, которая не в национальном уже русском сарафане, а в заморском робронде на фижменах, наравне с другими придворными дамами, исполняла французский контреданс с обычными в то время церемонными приседаниями, — исполняла как какую-то тяжкую службу, с мрачно насупленными бровями, то и дело наступая с непривычки на свой собственный шлейф...

Здесь мы и простимся с нашим героем, который на другое же утро уплыл на штеттинском судне, чтобы никогда уже не возвращаться на место действия нашего рассказа — на берега Невы, где возникшая по мановению царского жезла новая столица продолжала расти в ширь и высь на европейский лад, увлекая своим примером и остальную Россию. Только спустя лет 25, старожил петербургский Лука Артемьевич Калмыков — уже не лейтенант, а вице-адмирал, проведал случайно от заезжего калужанина, что калужский дворянин и помещик Иван Петрович

Спафариев уже сколько лет назад приказал долго жить, застигнутый «кондрашкой» во время своей чуть не десятой побывки в Карлсбаде и оплакиваемый на родине в пятнадцать душ. Сам калмык дожил до глубокой старости, не оставив по себе потомства, потому что за государевою службою так и не успел сужиться найти себе жену; но память о генерал-лейтенанте Калмыкове, как об образцовом служаке и первом знатоке судостроительного искусства, на многие еще годы пережила самого в русском флоте.

1899

Примечания

1

Марсельный ветер — ветер, при котором можно идти на марселях — средних парусах.

[^^^]

2

Бейдевинд — круче полуветра.

[^^^]

Бакборт — правый борт.

[^^^]

4

Брамсели — верхние паруса.

[^^^]

Ванты — толстые смоляные веревки, держащие мачту с боков.

[^^^]

6

Стеньга — второе колено мачты.

[^^^]

Описанный случай — исторический факт, увековеченный в одной из патриотических баллад («Von Konov och hans korporal!») шведско-финского поэта Рунеберга.

[^^^]

От обязанности входить в слишком обстоятельные топографические подробности избавляет нас и в дальнейшем ходе нашего рассказа прилагаемый план «устья Невы и г. Ниеншанца до 1703 года». Основанием для этого плана служил нам приложенный к «Истории Петра Великого» Устрялова «План Санкт-Петербурга в 1705 г.», отчасти, однако, измененный нами (между прочим, в отношении очертаний крепостного вала ниеншанцской цитадели) и существенно дополненный по новейшим данным, извлеченным в последнее время из шведских государственного архива и архива военного министерства в Стокгольме (см. обширную статью Г. Дальтона: «Ein Tag im Weichbilde der Stadt Petersburg 1688» в 14-ти номерах «St.-Petersburger Zeitung» 1888 года).

[^^^]

В настоящее время — парк гр. Кушелева-Без-
бородко.

[^^^]

Выражения, поставленные в кавычки, взяты дословно из подлинного «Журнала или поденной записки» Петра Великого. В том же журнале далее значится: «И с тем того барабанщика подчивав, отпустил в город; но сей комплимент знатно осадным людям показался досаден, потому что, по возвращении барабанщика, тотчас великою стрельбою во весь день на тое батарею из пушек докучали паче иных дней, однако ж урона в людях не учинили».

[^^^]

Несколько дней спустя этот пункт, по желанию шведов, был изменен в том смысле, что их отпускают не на Нарву, а на Выборг.

[^^^]

Кроме 78 крепостных орудий и 195 бочек с порохом (как сказано в имеющейся росписи), было принято: «Ядер, картеч, туфл, банников, фитиля, колец, огнестрельных люсткугулей, гранат, калифонии, серы, подъемов, гирь медных и железных, ломов, стали, гвоздей, топов, котлов, рогаток свинца, железа, цепей железных, якорей, труб медных, пожарных и прочих воинских припасов многое число».

[^^^]

Рангоут — все деревянное вооруженье корабля: мачты, стеньги, рей и проч.; такелаж — вся веревочная его оснастка.

[^^^]

Брасопить — ставить реи наискось, поворачивать.

[^^^]

Гротмарсарей — второй рей на гротмачте (средней мачте).

[^^^]

Фокагалс — снасть для осадки наветренного угла фока — нижнего паруса на фокамачте (передней мачте).

[^^^]

Состоячий такелаж — смольные снасти для поддержки мачт и их продолжений; бегущий — снасти для управления парусами и ходом корабля.

[^^^]

Румбы — 32 направления компаса.

[^^^]

Пол-северо-востока к востоку

[^^^]

Юго-запад к югу

[^^^]

21

Северо-запад к северу

[^^^]

Гостиный двор этот сгорел вскоре, именно в июле того же 1710 года.

[^^^]

В императорском Эрмитаже в Петербурге, в коллекции зубов, собственноручно выдернутых Петром Великим, по сие время еще можно видеть здоровый с виду зуб под № 1 с надписью: «Зуб Еввы Ивановны, жена Василья Дмитриевича Антуфьева».

[^^^]

В приводимой ниже выдержке из подлинной афиши Петровских времен исправлена лишь для удобства чтения орфография.

[^^^]